

14382

Денис-матеря

1925.



ДЕТИ ШАХТЕРЫ



СБОРНИК РАССКАЗОВ

**ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРИБОЙ“
ЛЕНИНГРАД**

819.851

3 x 4



Д382 Д38

ДЕТИ-ШАХТЕРЫ

СБОРНИК РАССКАЗОВ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ И С ПРЕДИСЛОВИЕМ
И. С. РАБИНОВИЧА



РАБОЧЕЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРИБОЙ“
ЛЕНИНГРАД :: 1925



~~223 28583~~



~~ПОДАЧЕНО~~ 44

664966 Кх-рег.

Российская государственная
детская библиотека

~~Научная библиотека
дома детской книги
ИЗДАТЕЛЬСТВА
ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА~~

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Работа шахтера едва ли не самая тяжелая, самая опасная из всех отраслей человеческого труда. Работа днем и ночью в глубине подчас двухсот и более саженей под землей, без солнца, без чистого воздуха, при едва мерцающем свете шахтной лампочки, работа в атмосфере, насыщенной сыростью, угольной пылью,— гибельно влияет на организм трудящихся. Среди горнорабочих весьма редко попадаются нормального здоровья люди, дожившие до преклонного возраста. Шахтеры сплошь да рядом очень рано начинают терять работоспособность и к сорока годам становятся полными инвалидами. Одышка, мучительный кашель и, главным образом, ревматизм— профессиональные болезни горнорабочих.

Особо тяжелый труд накладывает свою печать на горнорабочего, оказывает громадное влияние на весь облик рудокопа, резко выделяет его среди массы промышленного пролетариата. Взгляните на толпу шахтеров: бледные лица землистого цвета, слегка прищуренные, отвыкшие от солнечного света глаза глядят исподлобья, медлительность и осторожность движений, угрюмость и сосредоточенность — результат постоянной работы во мраке среди множества грозящей жизни опасностей.

И действительно, многочисленны опасности, подстерегающие горнорабочего. Наводнение, обвалы, пожары, гремучий газ — вот они — подземные враги шахтера, как смерть стооящая, смотрящая на него из мрака. В рабо-

чем классе навсегда останется памятна катастрофа в копиях Франции в 1907 году. Число погибших превышало 1200 человек, немногие же спасшиеся оставались заживо погребенными в рудниках в продолжение двадцати дней без света, без пищи, среди разлагающихся трупов своих товарищей. Но катастрофа в копиях Франции ничего исключительного не представляет собой: история горнозаводского дела полна кровавых страниц массовой гибели рабочих. Статистическими данными доказано, что в нашем Донецком бассейне в дореволюционное время каждый третий рабочий являлся заранее обреченной жертвой несчастного случая. В Англии было высчитано, что там из пяти рудокопов ежегодно один становится жертвой несчастного случая.

И на этот тяжелый труд, среди самых разнообразных опасностей, капиталистическое общество рядом со взрослыми рабочими посылает сотни тысяч подростков и даже детей. Нечего говорить о том, как губительно отзывается на детском организме этот труд, так легко подкашивающий и взрослых работников. Не нужно и статистических данных, чтобы понять, как легко гибнут в минуты опасности малолетние работники.

Бесконечно скудны сведения о катастрофах в угольных шахтах (следственные власти буржуазных правительств тщательно скрывали ужасающие подробности), но и те немногие отрывочные сведения, что попали в печать, говорят за то, что среди жертв шахт бывало немало детей-работников. Уже в старейшем дошедшем до нас описании шахтной катастрофы в 50 годах прошлого века во французской провинции Гар мы видим, что из четырех отрытых жертв обвала—две были малолетних. В этом описании мы читаем: „Пленники были отделены от своих спасителей глыбой в 15 сажень толщины. Ее тотчас принялись отрывать. Миновали мучительных 78 часов, проход открыт, и перед глазами взволнованных товарищей очутились два человека: рыдавший мальчик и молодой углекоп, дрожавший от лихорадки. Но это не все. Целая

группа несчастных осталась в глубине копей заживо погребенными. Только через тринадцать дней товарищам удалось спуститься к ним на дно глубокой шахты. К рабочему, первому спустившемуся, бросились две фигуры и стали цепляться за его одежду. А вот и третий узник — это ребенок“.

Наемные защитники капиталистического общества часто указывали на то, что детям предоставляются самые легкие работы в шахтах. Еще Ф. Энгельс указал на всю тяжесть этой „легкой“ работы. Энгельс пишет: „Другая работа их (детей) состоит в том, что они стоят у дверей, ведущих из одной шахты в другую, чтобы открывать и закрывать их для пропуска рабочих и руды. На последнюю работу употребляются большей частью самые маленькие дети. В течение двенадцати часов они одиноко стоят в темноте, в тесном, большей частью сыром проходе, не имея даже столько работы, сколько это необходимо, чтобы спасти их от оупляющей скуки ничегонеделанья“. Эти строки относятся к Англии середины прошлого века.

О том же рассказывает А. Серафимович в своем очерке „Под землей“: „По мере того, как светлый кружок лампы штейгера подвигался вперед, в темноте выделялись сколоченные перекладинами полусгнившие доски, загораживая проход. Что-то живое и миниатюрное зашевелилось там. Это оказался мальчик лет десяти. Он побежал к загораживающим проход воротам и торопливо отворил их. Ветер со свистом и колебля пламя вырвался с той стороны, охватил нас холодом и сыростью и понесся по галлерее.

— „Иваська, это ты?

„Мы остановились. Он стоял перед нами, глядя на нас своими наивными детскими глазками. По этому проходу редко гоняли вагоны, и наше появление было для него целым событием. Он был приставлен отворять и затворять ворота, регулировавшие ток воздуха. Ему не давали лампы, чтобы не тратить даром керосина, и он по целым часам сидел возле ворот среди молчания и мрака и прислушивался к шороху и паде-

нию капель, невидимо пробиравшихся в темноте по стенам и монотонно и однообразно падавших со свода, наводя уныние и тоску. Детская голова, руки и ноги просили работы, движения, и он мял крошки угля и отковыривал кусочки отгнившей доски.

„— Скучно тебе одному.

„— Нет, оно не скучно, а только чижало на сердце“.

Воистину трудно сказать, что ужаснее для 10—12-летнего ребенка: непосильный ли труд или двенадцатичасовое пребывание в темноте и сырости в полном одиночестве и без всякой работы.

Если чудовищная эксплуатация детей является позорнейшей главой в истории капиталистического общества, то каторга детей-шахтеров самая жуткая страница в этой главе.

И. Рабинович.

Джеймс Уэли.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ.

— Ура, мама, я сдал экзамен и теперь могу распрощаться со школой! — Роберт радостно бросился к матери, стряпавшей обед. Картошка посыпалась на пол, и мать с улыбкой смотрела на мальчика.

— Как? и за пятое отделение сдал?

— Да, — весь сияя, гордо сказал мальчик, — совсем легко! Если бы ты видела, какие небольшие числа дали нам. Я решил задачу в одну минуту.

— Так. Значит ты окончил школу и можешь теперь расстаться с ней, — миссис Синклер задумалась, а пальцы быстро чистили картошку. — Отец обрадуется, когда придет домой.

— Да, теперь я могу оставить школу, когда захочу, и могу идти на работу в шахту.

В доме Синклеров было уже семь человек детей, и мать знала, что теперь пришла очередь Роберту увеличить заработок отца, и ничего, кроме шахты, ему не оставалось.

— Хорошо, Робин, что ты сдал экзамены, — сказала она после паузы, — молодец ты у нас. А сколько провалялось?

— Четверо, мама, — весело ответил мальчик; опять он вспомнил экзамены и свои успехи. — Мизи Мейланд выдержала хорошо. Она была первой среди девочек, а я первый среди мальчиков.

— Ну, хорошо. Я думаю, ты достанешь работу. Отец говорил, что ты еще мал для работы в шахте под

землей. Только двенадцати лет ты сможешь спуститься вниз. Но пока, верно, найдется работа наверху, среди глейшиц.

— Сегодня же вечером я пойду и посмотрю, не добуду ли себе работы. Я мог бы начать завтра, — сказал Роберт, пробуждая ее от смутных мыслей.

— Хорошо, Робин, — ответила она с покорным вздохом. — Я думаю, что работа найдется. Это будет твой первый выход в жизнь.

— Если я получу работу, мама, то я буду получать шиллинг и два пенса в день, как Дик Томсон. Это будет помощь тебе. Подумай. Я могу скоро заработать один фунт.

Он торжествующе засмеялся. Один фунт! ¹⁾

Ему представлялось это настоящим богатством. Чего только не сможет сделать мать с одним фунтом! Чего только не купишь на фунт! А это лишь начало. Его заработок будет расти: он научится работать. Когда он спустится в шахту, — а это будет скоро, — он будет получать еще больше, и тогда мать сможет купить новые платья для всех. Как хорошо было бы надеть новый костюм, — действительно новый, прямо из лавки. До сих пор у него были только „переделки“, костюмы, сшитые из старых, изношенных старшими платьев. Но новый костюм, вроде тех, какие он видел иногда на сыновьях учителя! Как в нем чувствуют себя люди! Хорошо бы это испытать!

И погрузившись в размышления, какие вещи может дать „крупный заработок“, Робин не видел, как прошел день. Мечты рисовали ему будущее в ярких красках.

В тот же день, вечером, он отправился к „начальству“, т. е. к Черному Джеку, и встретил около дома штейгера Мизи Мейланд.

— Куда ты идешь, Роб? — робко спросила она.

— Записываться на работу, — робко ответил мальчик. Теперь, когда он оставил школу и начинал рабо-

¹⁾ Около 10 руб.

тать, как взрослые, он чувствовал себя обязанным покровительствовать девочке. — А куда ты идешь?

Мизи шла тоже к дому штейгера.

— И я хочу просить работы. Я больше не пойду в школу. Мать думает, что мне может найтись работа здесь глейщицей. Лучше, чем итти в услужение. Я могу по вечерам помогать дома, когда приду с работы. — Мизи говорила рассудительно, как взрослая. Она была старшей из шести детей Мейландов и тоже должна была начать помогать семье. Каждый грош был дорог.

Штейгер открыл дверь, и Роберт выступил адвокатом и за себя и за Мизи.

— Мистер Джек, мы сегодня сдали экзамены в школе и хотели бы просить у вас работы.

Штейгера забавляла серьезность мальчика; совсем взрослый мужчина!

— Мы не берем на работу девочек, — ответил штейгер, посматривая на детей с усмешкой, — но двух-трех мальчиков взяли бы: нужно помогать женщинам сортировать уголь.

Надежды Мизи рушились. Роберт видел по ее лицу, как она опечалена.

— А, может быть, вы возьмете на пробу и Мизи? — спросил он. — Она хороший работник и сможет сортировать уголь не хуже женщин. — Правда, Мизи? — обратился он к ней за подтверждением.

Мизи, готовая уже заплакать, соглашалась со всем, что говорил ее адвокат. Опечаленная мордочка Мизи растрогала даже штейгера — в каждом сердце есть слабые местечки.

— Ну, хорошо, возьмем ее на пробу, но только должен сказать, работа будет тяжелая, — штейгер говорил с Робертом, точно он отвечал за работу Мизи.

— Она справится. Мизи хороший работник, — повторил Роберт, — вы увидите...

— Так, так, — прервал Роберта штейгер. — Приходите завтра оба, и я поставлю вас на работу.

— А сколько мы будем получать? — спросил Роберт.

Это был самый важный пункт, и его нужно выяснить в первую очередь.

— Мальчики получают один шиллинг¹⁾ и один пенни, — ответил штейгер, посмеиваясь над стремительностью и настойчивостью мальчика. — Девочки получают меньше. Но у нас работают только взрослые женщины и мы платим им один шиллинг два пенса. Я назначу Мизи для начала один шиллинг, — и он повернулся, чтобы войти к себе в дом; разговор был кончен.

— Но если она будет работать так, как и мальчики, и столько же выберет камней из угля, вы заплатите ей столько же, как и мне? — остановил его Роберт. Он не хотел уйти, не получив обещания увеличить плату для Мизи.

— Она уж очень маленькая, — заметил штейгер, — ей нельзя платить столько, сколько мальчику. — И он посмотрел на Мизи, измеряя ее критическим взором и оценивая ее рабочую силу.

— Но если она будет делать такую же работу, как и другие, вы должны ей платить столько же! — запальчиво сказал мальчик. Мизи решила, что нет никого храбрее и добрее Роберта, и смотрела на него благодарными глазами.

— Ну, ладно, — пробормотал штейгер; ему наскучили детские вопросы, — приходите завтра, будете оба получать по шиллингу и одному пенни.

— Шесть шиллингов и шесть пенсов в неделю! Целая куча денег! Правда, Роб? — радовалась Мизи, когда они бежали домой.

— Да, это много денег, — серьезно подтвердил Роб. — Но нужно работать во-всю, чтобы получить их. Ну, прощай. Доброй ночи. — И дети расстались, счастливые от удачи, думая о шести шиллингах и шести пенсах в неделю.

Мизи, сияя, рассказывала дома о переговорах со штейгером. Весь день, работая по дому, она вспоминала

¹⁾ Шиллинг около 50 коп.

и повторяла слова Роберта. Мэтью Мейланд и его жена Джени похвалили Роберта, и Мизи радовалась, слыша эти отзывы.

На следующее утро дети вдвоем пошли на работу. Было холодно, едва мерцал рассвет, и сверстники их еще крепко спали в теплых постелях.

Огромные колеса с бесконечным ремнем на вышке над шахтой казались страшными чудовищами в своем никогда не прекращающемся вращении: они с шумом вертелись, и из черных глубин поднимались все новые и новые грузы угля. Зияющая черная бездна с колеблющимся проволочным канатом, быстро убегающим вниз, в бездонное черное жерло, притягивала и пугала детей. Колеса вертелись, трещали, скрипели, стонали, рычали, иногда они вдруг замолкали на секунду, как бы собираясь с новой силой, и снова начинали кричать и рычать в бессильной злобе.

Роберту казалось, что это кричит и стонет плененное чудовище гигантской силы, которое было во сне опутано и связано и, проснувшись, увидало себя бесильным бороться со своим покровителем — лилипутом-человеком.

Старый рабочий, задыхаясь и кашляя, объяснял детям, что они должны делать.

— Вы будете стоять здесь, — показал он на маленькую площадку, шириною около двух футов, идущую вдоль ссыпки угля. — Вы должны следить, чтобы туда вниз не попал ни один камень. Как только вы увидите камни, так сейчас же вытаскивайте их и швыряйте туда, к Дики Томсону. Он соберет их в корзину и отнесет в мусорную кучу.

— Хорошо, — сказал Роберт, посмотрев на узкую площадку, с непрочной неровной загородкой, которая вряд ли могла быть защитой от падения, с одной стороны, на рельсы, по которым бежали платформы с углем, на глубине пятнадцати — двадцати футов, а с другой — в кучу угля.

— Смотрите, не пропускайте камней; уголь должен быть чистым. Не ротозейничайте; если в угле будут

оставаться камни, то вы будете уволены, — сказал старик авторитетно, точно это только от него и зависело.

„Старый ворчун“, как его прозвали рабочие, кажется, даже сам забыл свое настоящее имя. В списках он значился как „Ворчун“, с большой буквы, и многие думали, что это его фамилия. Он всегда был недоволен всем и всеми, никогда нельзя было угодить ему, и конца не было его ворчанью.

Женщины и мальчики, работавшие здесь, казалось, не обращали никакого внимания ни на колеса, ни на машины, повергавшие Мизи и Роберта в изумление. Работали они изо всех сил, вытаскивая из тачек с углем камни и отбрасывая их в сторону. Их усердие забавляло старших.

— Ну, вас так не надолго хватит, — сказала одна женщина. — Вы скоро скиснете, работайте полегче.

— Оставьте их в покое, — зарычал „старый ворчун“, получавший лишний пени за то, что был чем-то вроде надзирателя на вышке. — Занимайтесь своим делом и не суйте нос, куда не надо.

— А иди ты в ад, к чертям, старые свистящие мехи, — выругалась другая работница, издеваясь над его одышкой. Кругом стоял хохот и грубые шутки сыпались со всех сторон. Скоро Роберт почувствовал, что у него начинает болеть спина и кружится голова: работать приходилось согнувшись. Он выпрямился и почувствовал, будто его разломали надвое. Как же себя чувствует Мизи? Он взглянул на нее: она была бледна и измучена.

— Отдохни немножко, Мизи. У тебя не кружится голова?

Мизи не слышала; „шесть шиллингов и шесть пенсов в неделю“ — звенело непрерывно у нее в голове и все собою заглушало. Монотонное скрипение платформ с углем, двигавшихся мимо взад и вперед, походило на непрерывно повторявшийся припев: „шесть и шесть пенсов в неделю“; „шесть и шесть пенсов в неделю“ — слышалось в каждом скрипе колес, в рычании и шуме машин, в гудении канатов. И каждый

раз, когда ее маленькие руки, уже окровавленные, через определенные промежутки поднимали камни и отбрасывали их в сторону, неизменно звучал припев: „шесть и шесть пенсов“. Она сама была частью припева, одной нотой и фортиссимо промышленности.

Машины стонали, скрипели, рычали и свистели ей в уши все тот же припев. Поршни поднимались, и опускались взад и вперед, стучали, выли, грохотали, внизу, наверху, внутри и снаружи — „шесть и шесть пенсов“.

Мизи хотела выпрямиться по совету Роберта. Острая боль прошла через все тело, точно ее разрезали пополам. Все кругом завертелось в горячем вихре. Крыша сарая быстро пошла вниз, потолок поднялся кверху, Мизи зашаталась и упала на кучу камней, расцарапав щеку и изранив руки. Это всегда бывало со всеми начинающими работу по сортировке угля.

Одна из работниц подняла Мизи, дала ей глотнуть из фляжки холодного чаю и посадила ее в стороне.

— Ну, что, скисла, дочка, — с грубоватой добротой сказала она, — посиди здесь, скоро отойдешь. Все так кувыркались вначале.

Мизи чувствовала себя больной и разбитой. Ей уж начинало казаться, что она не сможет продолжать. Она проработала только час, а думала, что прошел целый день. „Шесть и шесть пенсов в неделю“ — пели тележки и платформы в своем непрерывном движении; „шесть и шесть пенсов“ — жужжали машины; „шесть и шесть пенсов“ — трещали и гремели, скатываясь вниз в сыпку, глыбы угля, и голова у нее опять начинала кружиться от этого непрерывного шума. „Шесть и шесть пенсов в неделю“ — глухо отбивал уголь, падая в вагоны; „шесть и шесть пенсов“ — скрипели колеса; вся шахта пела разными голосами один и тот же припев: „шесть и шесть пенсов“.

Это гремело над ней из одного угла, визжало из другого, рычало сзади нее, стонало перед ней, свистело с крыши; и весь сарай, огромный и черный, со всеми машинами, колесами, канатами, болтами дрожал и ка-

чался под это монотонное пение. „Шесть шиллингов и шесть пенсов в неделю“ звучало, стучало в каждом нерве, в каждой фибре ее существа. Она была рождена для этого, жила этим, и, казалось, колеса вечности уже перемалывали ее судьбу в этом реве и треске, в этом равномерном качании и дрожании.

Ей стало хуже; голова кружилась, тошнило. Одна из женщин взяла ее за руку и вывела по узкой, расшатанной деревянной лестнице вниз, через свалку мусора и камней, на свежий воздух. Через четверть часа она привела ее обратно. Мизи было лучше, только болела голова.

— Эй, Мег, какого дьявола ты работу бросаешь! Куда тебя носило? — задержал женщину старик, не желая пропустить случая показать себя „начальством“.

— Да убирайся ты к дьяволу, старая подлиза, гадина ползучая! — и она принялась за работу, обращая на него столько же внимания, сколько на кусок угля.

— Все бегаешь там... шушукаться, — ворчал старик. Это был намек на тайные собрания, которые иногда устраивались где-нибудь в укромном уголке.

Мег не осталась в долгу. Старикау опять попало, при общем смехе женщин. Роберт и Мизи, ничего не понимая, удивлялись, почему злится старик.

Так проходил день. Мужчины и женщины, огрубевшие от работы, обменивались грубыми ругательствами и грубыми фамильярностями, которых не понимали только дети. Грубая речь с бесстыдными намеками, непристойные шутки, насмешки, оголенная животность — такова была атмосфера, окружавшая их.

Задолго до окончания рабочего дня Роберт и Мизи были измучены: им казалось, что все кости в теле у них сломаны и болят.

— Мизи, отдохни еще немножко, — сказал Роберт. Я буду быстро работать и за себя и за тебя, и мы не пропустим много камней!

— Нет, мне тоже нужно выбирать их, — почти без сил и готовая заплакать спорила она. — Ты сказал, что

я буду хорошо работать, что я сильная. Если я перестану, мне сбавят плату и дадут только один шиллинг в день.

— Я говорю тебе, что буду за двоих работать, и никто ничего не увидит, — убеждал Роберт. — Я могу поработать сильнее, пока ты отдохнешь чуть-чуть.

Мизи была еле жива и перестала работать. Она выпрямилась и опять у нее закружилась голова. И весь день болела спина, повторялись головокружение и тошнота. Работницы уверяли, что она привыкнет, что это скоро пройдет. Руки у нее были изрезаны, избиты и грязны, часто ей хотелось сесть на землю и заплакать, но „шесть шиллингов и шесть пенсов“ — припев, крепко державшийся в ее сердце, — отгонял ее слабость и, казалось, давал ей все новые и новые силы.

Женщины старались утешить и поддержать детей грубоватой лаской, и много сделали, чтобы облегчить им их первое испытание. Но это был тяжелый день, мучительный, раздирающий сердце, день слез и отчаяния, день агонии, память о котором даже „шесть шиллингов и шесть пенсов в неделю“ никогда не могли вытравить из их души, хотя и помогли вынести его. Огромные колеса долго стонали и свистели подобно пленному чудовищу, как рисовало воображение Роберта, и, наконец, остановились.

Но в узоры, которые в этот день выткали гигантские колеса в ткани промышленности, были вплетены две новые блестящие нити — нити высокой цены и красоты, свитые и сплетенные вместе и придавшие богатую окраску всей ткани, — нити из благородных волокон, редкого качества, сверкающие и сияющие, подобно шее белого голубя, купающегося в солнечном свете. — Это были две детские жизни.

А. Серафимович.

ПОД ПРАЗДНИК.

I.

— Ну, иди, иди, идоленок, голову оторву!... змеиное отродье... — разнеслось в морозном вечернем воздухе.

Грязный, всклоченный, с головы до ног пропитанный угольной пылью, шахтер с озлобленной торопливостью и угрозой во всей фигуре, пожимаясь от холода, шагал в башмаках на босу ногу по снегу, черневшему от угля, за подростком лет двенадцати, торопливо уходившим впереди него.

Мальчик тоже был черен, как эфиоп, оборван и тоже мелькал босыми ногами в продранных башмаках. Он ежеминутно оглядывался, с ажитацией махая руками, и своей физиономией и всеми движениями выражал самый отчаянный протест.

— Не пойду, тятка, не буду работать, пусти... что-ж это, всем праздник, один я... пусти, не буду работать... — упрямо и слезливо твердил он, в то же время торопясь и припрыгивая то боком, то задом, чтобы сохранить безопасное расстояние между собой и своим спутником.

— Ах ты, идол!

И оба они продолжали торопливо итти по черневшей дороге, огибая насыпанные груды угля, запорошенного снегом.

Впереди из-за громадной, сложенной в штабели, груды угля показалось угрюмое кирпичное здание с высокой, неподвижной, черневшей на ясном небе, трубой.

Из дверей выходили шахтеры и кучками расходились по разным направлениям, спеша в бани.

Мальчик первый вбежал по ступеням на крыльцо и, обернувшись и выражая всей своей фигурой отчаянную решимость, сделал последнюю попытку сопротивления:

— Не пойду, не пойду... Что это, отдыху нет... всем праздник.

Но, как только отец стал подниматься на крыльцо, мальчишка юркнул в двери. Шахтер последовал за ним.

Они очутились в громадном темном помещении, где смутно виднелись гигантские машины, валы, приводные ремни и цепи. Это было помещение, откуда спускались в шахту. Тут же находилась и контора.

Шахтер подошел к конторке.

— Иван Иванович, пиши маво парнишку к водокачке. Неча ему зря баловать.

Человек в широком нанковом пиджаке, с лицом старшего приказчика или надсмотрщика, поднял голову, холодно и безучастно поглядел на говорившего и, наклонившись, опять стал писать что-то.

Мальчик стоял, отвернувшись от конторки и упорно глядя в окно. Острое напряжение пассивного сопротивления прошло. Дело было кончено, и поправить было нельзя. Тоска и отчаяние щемили сердце. Губы дрожали, он щурился, хмурил брови, стараясь побороть себя и глотая неудержимо подступавшие детские слезы. Отец тоже стоял, поджидая, когда отпустит конторщик.

Черный, с шапкой спутанных волос и угрюмым видом, шахтер, дожидавшийся расчета у конторки, безучастно оглядел говорившего, мельком глянул из-под насупленных бровей на мальчика, достал кисет, медленно скрутил цыгарку, послюнил ее и стал набивать, не спеша и аккуратно подбирая трубочкой с широкой, черной, мозолистой ладони корешки.

— Что мальчишку-то неволишь? — равнодушно проговорил он, отряхивая остатки засевшего между пальцами табаку.



— Не я неволю, нужда неволит; все недостатки да недочетки. Тоже трудно стало, тоись до того трудно — следов не соследишь, — и он махнул рукой и стал рассказывать, как и с чего у него пошло все врозь и стало трудно.

Шахтер, молча, с таким же сосредоточенным, нахмуренным лицом и не слушая, что ему говорил себе седник, закурил. Бумага на мгновение ярко вспыхнула, осветив стоявших возле рабочих, и из темноты на секунду выступили неподвижные, точно отлитые из серого чугуна, черты и огромные белые, как у негра, белки глаз.

— На малую водокачку в галлерею номер двенадцать которые? — проговорил, повышая голос, конторщик.

Рабочие молчали, оглядываясь друг на друга.

— Ну, кто же? Тут Финогенов записан.

— Здесь, — проговорил чей-то хриплый голос, и оборванец, с которым жутко было бы повстречаться ночью, показался в полумраке наступивших сумерек. Опухшее, оплывшее, заспанное сердитое лицо, сиплый голос свидетельствовали о беспросыпном пьянстве.

— Чего молчишь? Бери мальчишку да спущайся, ждут ведь смену.

Оборванец покосился на мальчика.

— Что суετε мне помет этот! Чего* мне с ним делать?

— Ну, ну, иди, не разговаривай.

— Иди!.. Сам поди, коли хочешь. Вам подешевле бы все... — и он грубо скверными словами выругался и пошел к сугробу, уходившему сквозь пол в глубину земли.

Мальчик молчаливо и безнадежно последовал за ним. Они подошли к четырехугольному прорезу в срубе и влезли в висевшую там на цепях клетку. Машинист в другом отделении пустил машину; цепи по углам, гремя и визжа звеньями, замелькали вниз, и клетка скрылась во мраке, оставив за собой зияющее четырехугольное отверстие.

Когда клетка исчезла, и на том месте, где за минуту был мальчик, остался темный провал, рабочий в башмаках почесал себе поясницу и повернулся к угрюмому шахтеру:

— Кабы не хозяйка заболела; жалко мальчишку — тоже хочется погулять.

Тот ничего не отвечал, стараясь докурить до конца корешки, и потом повернулся к конторке получать расчет.

II.

Клетка нечувствительно, но быстро шла вниз, и лишь цепи переливчато и говорливо бежали с вала.

Мальчик неподвижно сидел, упорно глядя перед собой в темноту. Им овладело то молчаливо-сосредоточенное угрюмое состояние, которое охватывает рабочего, как только его со всех сторон обступят мрак и неподвижная могильная тишина шахты. Он слышал затрудненное сиплое дыхание своего товарища, слышал, как тот кашлял, ворочался, харкал, плевал возле него, приговаривая в промежутках ругательства, и чувствовал, что он не в духе, зол с похмелья и от предстоящей необходимости провести праздники за работой в шахте.

А тот действительно был зол на себя, на сидевшего с ним рядом мальчика, на его отца, на конторщика, на правление, на весь свет. Да и в самом деле трудно, ведь, после непрерывной двухнедельной гульбы, — отправляться в холодную, сырую шахту в то время, как другие как раз собираются все позабыть в бесшабашной, захватывающей гульбе и попойке. Не итти же в шахту не было для него никакой возможности: все, начиная с заработанных тяжким трудом денег, кончая сапогами, платьем, шапкой, бельем — все было пропито, все было заложено, перезаложено; везде, где только можно было взять в долг, было взято под громадные проценты, и теперь нечего было ни есть, ни пить, не в чем было показаться на улицу, и ничего не оставалось больше, как скрыться от глаз людских в глубине шахты, утешаясь лишь мыслью, что за эти дни идет

плата в двойном размере. Такие, как Егорка Финогенов, до тла пропившиеся рабочие, — клад горнопромышленнику потому, что в шахте необходимо всегда иметь известное количество рабочих, иначе ее может залить; шахтера же ни за какие деньги не удержать в праздник под землей.

Клетка дрогнула, остановилась. Рабочий и его подручный выбрались из нее на площадку.

Финогенов зажег лампу, сделал папироску, закурил и стал глубоко и с расстановкой затягиваться, чтоб еще хоть немного оттянуть время: и у него сосала под сердцем тоска одиночества, отрезанности.

— Что, Егорка, али облетел? — проговорил, подходя с дымившей над самой землей на длинной проволоке лампой, приземистый рабочий, оскаливая белые зубы.

— Дочиста, как есть, — небрежно, прибавляя за каждым словом брань, — проговорил Егор, делая особенно беззаботный жест, — что, дескать, мы погуляли всласть, а остальное трын-трава, и в то же время чувствуя у себя за спиною эти молчаливые проходы, что неподвижно ждали его в темноте.

— Эй, кто там, садись, что ль! — крикнул штейгер, стоя возле отверстия уходящего вверх колодца.

Разговаривавший с Егоркой рабочий подбежал, торопливо уселся в клетку вместе с штейгером и другими подымавшимися наверх рабочими. Тронулись цепи по углам, клетка быстро пошла вверх и через секунду скрылась во мраке.

Егор и мальчик остались одни.

— Ну, иди, что ли, что рот-то разинул, — злобно крикнул Финогенов на мальчика, точно он был виноват во всем.

И они пошли среди молчания и мрака, согнувшись и наклонив голову, чтобы не убиться о балки, поддерживавшие лежавшие сверху пласты. Ноги скользили по мокрой, выбитой колее, и острые камни, выступая из мрака, проходили у самого лица. Торопливо бежавший с фитиля лампы красными языками огонь изо всех сил старался разгореться и осветить ярко

и разом эти глухие, таинственные места и лица молчаливо шедших куда-то людей; но со всех сторон угрюмо и беспрерывно надвигалась такая густая непроницаемая мгла, что обессиленный огонь, колеблясь, маленьким дрожащим кружком с усилием озарял путь лишь у самых ног и бежал в эту неподвижную тьму клубами удушливого, едкого дыма.

На поворотах Финогенов на минуту приостанавливался, припоминая дорогу, и опять, согнувшись и слабо посвечивая из-за себя лампой, шел все дальше и дальше, не обмениваясь ни одним словом с торопливо поспевавшим за ним мальчиком, да им не о чем было и говорить. Они прошли уже около двух верст, и стало сказываться утомление. Галлерея понижалась, становилась уже, теснее, свод нависал над головой все ниже и ниже, и обоим приходилось еще больше гнуться.

Шедший сзади Сенька раза два больно ударился о выдававшиеся углом из свода камни и все чаще стал спотыкаться, тяжело дыша и хватаясь за холодные, мокрые стены.

„Хоть бы дойти скорей“, думал Сенька, напряженно вслушиваясь, не слышать ли впереди ожидавшихся их рабочих. Но из-за гробовой тишины лишь слышались глухие, усталые шаги по неровному скользкому камню да всплески холодной воды, когда нога попадала в лужу.

И они продолжали идти среди холода, сырости и молчания подземной галлереи.

— Никак качают? — вдруг проговорил Финогенов.

Оба остановились и чутко стали вслушиваться. Из мрака доходили какие-то странные, однообразные, унылые звуки человеческого голоса, монотонно и печально повторявшего одно и то же, а в промежутках что-то, всхлипывая и захлебываясь, с усилиями судорожно тянуло в себя воду, и вода хлюпала и всасывалась куда-то и потом сочилась тоненькой струйкой.

— „...тридцать два... тридцать три... тридцать четыре“... — доносилось оттуда медленно, тоскливо, с паузами.

— Здесь, — проговорил Сенька, и оба пошли вперед.

Вероятно, там во мраке увидели красноватый огонь их лампочки, потому что перестали считать, и прекратились эти захлебывающиеся, всхлипывающие звуки. Но Егору и Сеньке ничего не было видно — ни огня, ни людей. И только, когда они совсем подошли, и Егор поднял свою лампу, они увидели двух, смутно выступавших из мрака шахтеров, поблескивающую внизу воду и рукоять небольшой помпы.

И Сенька и Егор ощутили некоторое облегчение, почувствовав присутствие людей и то, что, наконец, добрались до места, и не надо больше гнаться и спотыкаться среди темноты.

Шахтеры молча, не говоря ни слова, стали собираться: достали и зажгли свою лампу, вытрусили из башмаков набившийся туда мелкий уголь и насунули на головы по кожаной круглой шапке для защиты от камней.

— Что долго? — проговорил угрюмо один из них.

— Да далече. Тоже пока собрались да дошли, а там конторщик позадержал, — равнодушно ответил Егор, беспечно присаживаясь на корточки и начиная крутить цыгарку. Но, посидев немного и как будто сообразив что-то, он вдруг заговорил быстро и сердито: — Долго! А кабы совсем не пришли? Люди теперьча праздник встречают, все чесь-чесью, а мы вон сюда перлись, несла нас нечистая сила! Вы-то вон завтра натрескаетесь, а мы сиди тут да гни спину... черти, право...

— Да ты чего лаешься? Никто тебя не тянул, сам пришел; дурак, чисто дурак!

— А то долго ему! А кабы совсем не пришли? Вам бы только нажраться, а ты хоть сдыхай... — и Егор торопливо и в самых отборных выражениях старался излить все свое огорчение и досаду.

— Да будет вам, — проговорил другой шахтер, взял лампочку, и они, согнувшись, отправились в ту сторону, откуда только что пришли Егор и Сенька.

С минуту красноватый огонь их лампочки мелькал в темноте, становясь все меньше, пока не пропал светлой точкой в глубине мрака. Звук шагов стих, Егор и Сенька снова остались одни, и им стало опять одиноко, холодно и скучно.

Егор торопливо докурил папирску, под-ряд затянувшись несколько раз.

— Ну, вот что, Сенька, — заговорил он, швырнув в воду зашипевший там окурок, — становись ты спервоначалу и качай, да считай сколько разов качнешь; как досчитаешь сто разов, шумни мне, а я маленько сосну. Да не бреши, смотри, я прислуховаться буду, а не то голову оторву, ежели присчитывать станешь лишнее.

— Дяденька, а ты долго не спи, а то я замучаюсь, — проговорил Сенька, которому жутко было оставаться одному.

— Ладно, я трошки засну, устал, а тогда я буду качать, а ты отдохнешь.

И Егорка потушил лампу. Рабочие от себя держали освещение, и поэтому работали впотьмах, чтобы сэкономить осветительный материал. Слышно было, как он ощупью пробрался до находившегося тут же места выработки, поворочался и повозился на куче ссыпанного мелкого угля.

— А впрочем, не буди меня, я лишь трошки вздремну, а как откачаешь свое, я сам проснусь. Гляди же, не кидай водокачки, а то взлупки дам, — донеслось до Сеньки из темноты, и потом все стихло.

Сенька нагнулся, пошарил, нашел ручку помпы и, сделав усилие, качнул. Поршень скользнул по трубе, всхлипнул и, всасывая, потянул за собой воду, и через секунду стало слышно, тоненькая струйка неровно и прерываясь побежала в жолоб.

— Ра-аз, — проговорил Сенька, чувствуя, как пробивается к нему сквозь дыры башмаков холодная вода, и его голос одиноко и странно прозвучал в стоявшей вокруг темноте.

И Сенька стал качать, ничего не различая перед собой, и поршень раз за разом стал ходить вверх и вниз, вслед за ручкой помпы, всхлипывая и забирая воду.

Работа казалась нетрудной и шла легко и свободно. Сенькой овладело состояние, подобное тому, какое испытывает привычный к дальним дорогам конь, когда он вляжет в хомут и тронется, помахивая слегка головой, зная, что долго придется идти этой мерной, неспешной поступью. Он позабыл все, что волновало его сегодня и что осталось там, позади, и мерно качал и считал вслух, как будто в этом счете и заключалась вся суть и необходимость его пребывания здесь, в сырой, холодной, непроницаемой мгле. Впрочем, он это делал еще и затем, чтобы подавить жуткое ощущение одиночества и нараставшего неопределенного страха. Молчание и тьма все время неподвижно стояли вокруг, зловеще дожидаясь, чтобы незаметно обнаружить перед ним что-то ужасное и пока скрываемое. Сенька не представлял себе ясно, что это было, но постоянно чувствовал его присутствие. Сейчас вот от него за этой мглой начинались проходы. Они тянулись неведомо куда, и, кто знает, что теперь творилось там. Сенька был один и один мог сознавать окружающее, и оттого то, что происходило там, принимало особенный, таинственный характер, имевший именно к нему какое-то отношение.

Иной раз он сбивался со счета, и, спохватившись, торопливо и наобум, останавливался на какой-нибудь цифре и опять начинал ровно и монотонно считать. По временам ему становилось тесно, трудно дышать, и пот каплями падал со лба; руки и ноги занемели и отламывались, он уже давно просчитал за сто.

Вода все прибывала. Помпа с необыкновенным трудом, захлебываясь, вздрагивая от судорожных усилий, тянула тяжелую, как жидкий свинец, воду, и в промежутке слышалось чье-то прерывистое дыхание.

А кругом было все тихо; мрак редел, разрываясь принимал неопределенные формы и шевелился. Сенька

закрыв глаза и работал с закрытыми глазами, но это было еще страшнее.

Время уходило, башмаки уже стояли в воде, и помпа медленно и редко, точно при последнем издыхании подымала и опускала поршень.

...„Зальет“... Он сделал последнее, отчаянное усилие, налег на рукоять. Поршень прошел донизу, чмокнул, засосал, подергался и остановился: Сенька не мог больше качать.

И тогда произошло нечто дикое и безобразное.

— Дядинька... немоготу работать... — пронесся среди прекратившейся работы помпы и наступившей гробовой тишины чей-то странный, совершенно незнакомый Сеньке, голос.

— Аха-ха-х-х... гоооггоо... моготу-у-у... — донеслось до него отовсюду глухо и насмешливо.

Мрак за клубился, и все заволновалось в необузданной дикой радости. Сенька сидел посреди этого содома на корточках в воде и плакал беспомощными детскими слезами. Он боялся итти искать Егора, да, может быть, его здесь уже совсем и не было.

— Дя-адя Егоор...

— О-ооо... ух-ух... ух... — отдавалось глухо и подавленно.

Он до того был одинок и беспомощен, что хуже того, что теперь делалось кругом, не могло быть, и он уже не пытался выйти из своего положения и отдался на произвол судьбы: „все равно“. Вода подымалась все выше и выше, мокрые штаны липли к телу.

Он не знал, сколько прошло времени, пока голос с того света не проговорил:

— Ну, чего воешь, поганец? Воды - то сколько нашло! — крепкая затрещина по уху Сеньки мгновенно разогнала весь этот дикий, творившийся вокруг него кавардак.

Сенька так обрадовался, как-будто очутился на поверхности, и ему объявили, что он может праздновать. Кто-то возле него поплевал в руки, и помпа зарабо-

тала часто и сильно, правда, всхлипывая, но теперь не так, как у Сеньки: видимо, ей не давали разжалобиться.

— Чего же стоишь? Ступай.

— Дай спичку.

— Но!.. Дам спички портить?

— Темно.

— Найдешь. По над стенкой, а там направо.

Сенька побрел в темноте по проходу: ни безглазого, ни слепого ничего уже не было, за исключением холода и сырости. Эхо отдавалось глухо и обыкновенно. Он добрался до „лавки“, — место выработки угля, — где можно было передвигаться только на корточках или на коленях, и стал ощупью шарить руками по воде, по липкой угольной грязи, пока не нашел насыпанную кучу мелкого угля.

Сенька забрался и улегся тут. Уголь понемногу раздался, принимая формы вдавившегося в него тела. Сенька достал из-за пазухи кусок слипшегося от сырости черного хлеба и стал есть. Кусочки соли и угольная пыль хрустели на зубах, и слипшийся мякиш разжевывался, как тесто. Руки, ноги, спина ныли тупо и упорно, не обращая внимания на то, что он теперь отдыхал.

Сенька доел хлеб, свернулся клубочком, руки заложил между коленями, колени придвинул к самому подбородку, подвигал плечами, чтобы глубже уйти в уголь, и стал дожидаться, чтобы пришел сон.

III.

— Ну, ты, дьяволенок, вставай!

Кто-то больно пнул Сеньку каблуком в бок; он хотел подняться, но при всех усилиях не мог. Боль захватила дыхание, он застонал и... проснулся.

Непроглядный мрак стоял угрюмо и безучастно; холодом и сыростью безнадежно веяло отовсюду. Впотьмах ругался Егорка и тыкал его куском угля.

— Не бей, дяденька, я встану,—проговорил Сенька, с усилием подымаясь.

Его била лихорадка, зубы громко стучали, мокрые ноги заоченели, и ниже колена больно тянула жилу судорога.

— Ишь ты, лодырь какой, за тебя работай, а ты спать будешь. Морду сворочу!.. Целый час с ним тут бейся,—шумел Егор.

Сенька наобум, сам не зная куда, сделал несколько шагов и вдруг остановился, прислонившись к холодной мокрой стене.

— Дяденька, у меня мочи нету.

Град ругательств посыпался из темноты, где был Егор.

Сенька, пересиливая себя и глотая слезы, ощупью добрался до помпы, нагнулся, взялся за ручку и стал качать. Кругом водворилась тишина, и попрежнему все было неподвижно. Угрюмо и безнадежно. Опять под низко нависшим во мгле сводом слышались хлопающие звуки помпы, и бежала тоненькой струйкой вода, и чей-то голос монотонно, тоскливо и однообразно, как падающая в одно и то же место капля, повторял в темноте: „тридцать-два... тридцать-три... тридцать-четыре“...

Гектор Мало.

ОТКАТЧИК РЕНЭ.

Приключения французского мальчика-углекопа.

1. Черный город Варс.

Варс, куда я подходил, был лет сто тому назад бедной деревушкой, затерянной в горах.

Теперь же Варс насчитывает до двенадцати тысяч жителей и известен в промышленном мире. Все богатство Варса находится под землей. Поверхность же его имеет самый печальный и убогий вид: бесплодная почва, тощая растительность, повсюду сероватые или беловатые камни; только на низких местах произрастает более пышная растительность.

Такое устройство почвы является причиной ужасных наводнений. Во время дождя вода бежит по обнаженным склонам, как по мощеной улице; ручейки, обыкновенно сухие, превращаются в бурные потоки, которые неудержимо несут свои воды в реки и переполняют их; в несколько минут уровень воды поднимается на три, на четыре, на пять метров и даже более.

Варс построен на обоих берегах одной из таких рек, которая называется Дивонной. Городок нельзя назвать ни чистым, ни красивым. Вагоны, нагруженные железной рудой или каменным углем, движутся с утра до вечера по рельсам, проложенным среди улицы, и постоянно рассеивают красную и черную пыль, которая во время дождя превращается в непроходимую топкую

грязь; а в ветреные дни она носится столбом по улице и засыпает глаза прохожим. Дома сверху донизу черны от грязи и пыли, черны от дыма множества труб; все здесь черно: земля, небо и даже вода Дивонны, а проходящие по улицам люди чернее всего окружающего: черных лошадей, черных карет, листьев черных деревьев; можно было подумать, что черное облако сажей спустилось дважды над городом и покрыло все своей копотью. Улицы устроены не для экипажей и прохожих, а для железной дороги и вагонов, перевозящих уголь: повсюду на земле рельсы и круги для поворота вагонов; над головой висят краны с зубчатыми колесами и подъемными рычагами, которые поднимаются и опускаются с оглушительным грохотом.

Огромные здания, около которых я проходил, дрожали до самого основания, и, заглянув в окно или дверь, я видел огромное количество расплавленного металла, текущего огненной массой, громадные молоты, бросающие вокруг себя снопы искр, и равномерно снующие поршни паровых машин.

Когда я подходил к Варсу, было два или три часа пополудни, и яркое солнце светило на безоблачном небе. Но, по мере того, как я подходил к городку, все более темнело: между небом и землей нависла густая туча дыма. Уже более часа я слышал могучий свист и глухой шум, похожий на шум моря. Свист производили вентиляторы шахт, а глухой шум — удары молотов.

Я знал, что мой дядя, к которому я шел, был рудокопом в Варсе и работал в шахте Трюф.

Узнав, через какую галлерею должны выйти рудокопы, я встал у самого отверстия шахты; когда пробило шесть часов, я заметил в глубине галлерей тусклые блуждающие огоньки, которые быстро увеличивались. Это рудокопы поднимались по лестнице по окончании работ с лопатами в руках. Они приближались медленно, тяжелой походкой; их одежда и шляпы были покрыты черной угольной пылью и грязью. Каждый из них входил в помещение для ламп и вешал свою лампу на гвоздь.

Как внимательно я ни всматривался в лица рудокопов, я не находил между ними своего дяди Гаспара. Но вот какая-то черная фигура бросилась ко мне на шею. Это был двоюродный брат мой Алексей.

— Мы давно уже поджидали тебя, Ренэ, — ласково сказал мне дядя Гаспар, который очутился тут же.

— Дорога от Парижа до Варса очень длинна, — ответил я.

— А ноги коротки, — сказал он, смеясь.

Когда мы подходили к дому, дядя Гаспар сказал:

— Вот сейчас мы и придем.

За ужином я выразил дяде Гаспару свое желание получить какую-нибудь работу в руднике, чтобы иметь собственный заработок. Дядя сказал:

— Об этом поговорим после, а теперь пора и спать.

II. Я становлюсь откатчиком.

На следующее утро, пока я спал, Алексей вернулся домой с ушибленной правой рукой, которую ему придавило большой глыбой каменного угля: один палец был наполовину раздавлен, а вся рука сильно ушиблена.

Доктор пришел навестить его и сделал перевязку. Болезнь оказалась неопасной, и палец уцелел, но больному необходим был полный покой.

Дядя Гаспар умел мириться с своей жизнью, перенося все без горя и без гнева. Одно только могло вывести его из обычного спокойствия — помеха в работе.

Он немедленно пошел разыскивать себе помощника, но вернулся недовольный, так как не нашел никого.

Тогда я спросил его, трудно ли ремесло откатчика.

— Нет, ничто не может быть легче: нужно только толкать вагончик по рельсам.

— А тяжел этот вагон?

— Не очень тяжел, так как Алексей был в силах толкать его.

— Это правда. Если Алексей мог, следовательно, и я могу.

На следующее утро меня облачили в одежду Алексея, и я отправился вместе с дядей Гаспаром.

— Будь внимателен, — сказал он, передавая мне мою лампу, — иди по моим следам и, опускаясь в шахту по лестнице, не выпускай из рук ступеньки, пока не утвердишься на следующей.

Мы спускались все глубже и глубже, он — впереди, я — следом за ним.

— Если поскользнешься по лестнице, — продолжал он, — то постарайся удержаться, — здесь глубоко, и на дне шахты жесткий грунт.

Мы находились уже на значительной глубине, и свет виднелся лишь в отверстии шахты, напоминая собой бледную луну на темном небе.

— Лестница! — воскликнул опять дядя Гаспар.

Мы стояли перед черной дырой, и в ее неизмеримой глубине я видел колеблющиеся огоньки, большие у входа и становившиеся все меньше и меньше до чуть заметных точек, по мере удаления в глубь. Это были лампочки рудокопов, которые вошли раньше нас в рудник.

За лестницей последовала другая, за другой третья.

— Вот мы и в первом пласте, — заметил дядя Гаспар.

Мы находились в полукруглой галлерее с каменными стенами. Свод был немного выше человеческого роста.

По земле были положены рельсы, а вдоль галлерей бежал ручеек.

— Этот ручеек соединяется с другими, подобными ему, и все они впадают в водосточную яму, — объяснил дядя Гаспар. — Машина выкачивает и спускает каждый день в Дивонну от тысячи до тысячи двухсот кубических метров воды. Если бы машина перестала действовать, рудник быстро бы затопило водой. В эту минуту мы находимся как раз под дном Дивонны.

Я выразил испуг, а дядя Гаспар громко рассмеялся.

Когда мы пришли на место работы, дядя Гаспар показал мне, что делать, и когда наша вагонетка наполнилась углем, он покати́л ее вместе со мной, чтобы

научить меня, как управлять ею и как действовать при встрече с другими откатчиками.

Дядя Гаспар был прав: дело это было нетрудное, и через несколько часов я с ним освоился. Правда, я сильно уставал, был недостаточно ловок, но с течением времени я мог привыкнуть к своей работе.

По соседству с дядей Гаспаром работал откатчик, который был не мальчиком, как все прочие откатчики, а стариком с седой бородой. Ему было около шестидесяти лет, и звали его Пюжоль. В молодости он был плотником и устраивал подпорки в галлереях, но при одном обвале ему отдало три пальца, так что пришлось отказаться от своего ремесла. Компания, у которой он служил, назначила ему небольшую пенсию, потому что он пострадал, спасая жизнь трем товарищам-рудокопам. В течение нескольких лет он жил на эту пенсию. Потом компания прекратила выдачу этой пенсии, и он поступил в откатчики в копи Трюер. Его все звали учителем, потому что он знал много такого, о чем рудокопы не имеют никакого понятия, и со всеми охотно делился своими познаниями.

Во время отдыха мы познакомились с Пюжолем, и он полюбил меня. Я был большой охотник спрашивать, а он любил объяснять; скоро мы сделались неразлучными. В руднике, где обыкновенно говорят мало, нас прозвали болтунами.

Рассказы Алексея и ответы дяди Гаспара не удовлетворяли меня.

На мой вопрос:

— Что такое каменный уголь?

Дядя мне отвечал всегда:

— Это уголь, который добывается в земле.

Когда же я обратился с тем же вопросом к Пюжолю, он мне объяснил так:

— Каменный уголь не что иное, как древесный уголь: вместо того, чтобы топить наши печи деревьями, растущими в настоящее время, мы топим их деревьями, которые росли в очень отдаленные времена

и превращены в уголь силами природы, то есть теплотой и давлением земли.

Я посмотрел на него с удивлением, а он продолжал — Сегодня нам болтать некогда, надо возить вагонетки, но приходи ко мне в воскресенье, я объясню тебе все это подробнее. У меня есть образцы каменного угля и минералов, которые я собирал в течение двадцати лет. Они помогут тебе понять то, что я буду рассказывать. Человек работает не одними руками, но и головой. В твои годы я был так же любознателен, как и ты; я работал в руднике, и мне хотелось знать все, что видел каждый день; я расспрашивал обо всем инженеров и читал в книгах. Приходи завтра: я постараюсь научить тебя внимательно смотреть вокруг себя.

На следующий день я сказал дяде Гаспару, что иду к Пюжолу.

— А!—сказал он, смеясь,—наконец-то он нашел с кем поболтать. Ступай, сынок, если тебя это интересует.

Пюжоль жил в некотором расстоянии от городка, в печальной и убогой местности, у подножья горы. Он поселился у одной старой вдовы, муж которой погиб при обвале. Он нанимал у нее род погреба. На самом сухом месте комнаты стояла кровать, на которой росли грибы,—значит, место было не очень сухое. Но для рудокопа это не представляет большого значения, потому что он привык стоять целыми днями в воде. Для Пюжоля это помещение было удобно, потому что оно находилось вблизи пещер, расположенных на склоне горы, в которых он мог делать свои раскопки, и в особенности потому, что он мог разложить в нем по своему вкусу свою коллекцию образцов каменного угля, камней с отпечатками и окаменелостей. Пюжоль берег свои сокровища и гордился ими.

Его коллекция показалась мне богатой. Маленькие экземпляры лежали на полках и на столах, большие—на полу. В течение двадцати лет он собирал все, что казалось ему наиболее достойным внимания.

Я пробыл у него до поздней ночи; над каждым камешком, над каждой окаменелостью Пюжоль делал свои объяснения, так что я под конец кое-что понял.

III. Наводнение.

На другой день, когда я подвозил в третий раз свою вагонетку к шахте „Альфонсина“, я услышал со стороны шахты ужасный шум, подобного которому я не слышал с тех пор, как работал в руднике. Я прислушался. Шум продолжался по всем направлениям. Что бы это могло значить? Я страшно испугался и вздумал бежать, как можно скорее, к лестнице. Но над моими страхами так часто смеялись, что меня удержал стыд. „Вероятно, это был взрыв в руднике или вагонетка упала в шахте“, подумал я; „может быть, осыпалась порода где-нибудь в галлерее“.

Вдруг стая крыс промчалась мимо меня, подобно спасающемуся бегством эскадрону кавалеристов. Потом я услышал страшный шум воды, бегущей по галлереям. Место, в котором я находился, было совершенно сухо, и шум был совершенно непонятен. Я наклонил свою лампу над землей, чтобы объяснить себе, в чем дело. Это была вода. Она текла со стороны шахты, поднимаясь по галлерее. Этот ужасный шум и рев происходили, следовательно, от падения воды, врывающейся в шахту.

Оставив свой вагончик на рельсах, я побежал к дяде Гаспару, крича:

- В руднике вода!
- Какие глупости.
- Дивонна прорвалась, нас затопит!
- Оставь меня в покое.
- Послушайте сами!

Я говорил таким взволнованным голосом, что дядя Гаспар прекратил свою работу; не выпуская из рук кирки, он прислушивался: тот же шум продолжался, становясь с каждой минутой сильнее. Нельзя было ошибиться,—вода затапливала рудник.

— Беги скорее!—закричал дядя Гаспар:—в руднике наводнение.

По привычке дядя Гаспар схватил прежде всего свою лампу и направился в галлерею.

Не успели мы пройти десяти шагов, как я увидел Пюжоля, который также спускался в галлерею, чтобы понять, что значит этот шум.

— В руднике наводнение!—закричал ему Гаспар.

— Дивонна прорвалась!—крикнул я.

— Какой ты говоришь вздор.

— Спасайтесь!—закричал Пюжоль.

Уровень воды быстро поднимался в галлерее; вода доходила нам до колен и очень затрудняла наш бег.

Пюжоль побежал с нами, и мы кричали по дороге:

— Спасайтесь! В руднике наводнение!

Уровень воды поднимался с ужасающей быстротой. К счастью, мы работали близко от лестницы, иначе нам никогда не удалось бы до нее добраться. Пюжоль подбежал к ней первым, но остановился и сказал:

— Влезайте прежде вы. Я из вас самый старший.

Дядя Гаспар полез первый, за ним я, а за мной Пюжоль; потом вслед за нами поднялось по лестнице еще несколько человек рудокопов.

Никогда мы не поднимались с такой быстротой по лестнице в сорок метров, которая отделяет первый пласт от второго. Но прежде, чем мы добрались до последней ступеньки, струя воды окатила нас и погасила наши лампы. Это был целый водопад.

— Держитесь крепче!—закричал дядя Гаспар.

Он, Пюжоль и я держались довольно крепко за ступеньки, чтобы противостоять напору воды; но те рудокопы, которые поднимались за нами, были увлечены потоком, потому что водопад успел превратиться в целый поток.

Когда мы добрались до первого пласта, то нам осталось еще пятьдесят метров до выхода, а вода была также и в этой галлерее. Мы находились в темноте, потому что лампы наши потухли.

— Мы погибли,—сказал Пюжоль почти спокойным голосом.

В эту самую минуту в галлерее показалось семь или восемь ламп, которые приближались к нам. Вода доходила уже нам до колен; не нагибаясь, мы доставали ее рукой. Это не была спокойная вода, но целый водоворот, который увлекал за собой все, что ему попадалось на пути, и перевортывал бревна, как перышки.

Люди, которые подбежали к нам с лампами, хотели взобраться на лестницу, но в виду хлещущего потока это оказалось невозможным.

— Мы погибли! — кричали они.

Они подошли к нам.

— Этим путем нам нет спасенья, — сказал Пюжоль, который больше нас всех сохранил хладнокровие: — наше единственное убежище — старые копи.

Старые копи составляли часть давно заброшенного рудника, куда никто не ходил, кроме Пюжоля, который часто бывал в них ради пополнения своей коллекции.

— Пойдем скорее туда,—закричал он,—и дайте мне лампу, я поведу вас.

Все протянули ему лампы.

Он быстро схватил первую попавшуюся одной рукой, а другой меня, и пошел вперед. Так как мы шли по одному направлению с потоком, то подвигались довольно быстро.

Я не знал, куда мы шли, но надежда на спасение вернулась ко мне. Пройдя по галлерее несколько минут, Пюжоль остановился.

— Мы не успеем,—закричал он,—вода поднимается слишком быстро!

Действительно, она прибывала с невероятной быстротой; теперь она поднялась мне по грудь.

— Надо нам спрятаться в восходящей галлерее, — сказал Пюжоль.

— А потом?

— Оттуда нет никакого выхода.

Спрятаться в верхней галлерее — это значило лезть самим в ловушку; но мы не могли ждать и выбирать:

оставалось или послушаться Пюжоля и выиграть несколько минут времени, или продолжать наш путь и быть поглощенными этим потоком.

Мы последовали за Пюжолем в верхнюю галлерею. Двое из наших товарищей пожелали идти по галлерее, и мы их никогда не увидели больше.

Устроившись в верхней галлерее, мы услышали оглушительный шум. По всему руднику творилось нечто ужасное: слышался шум обвалов, падающих подпорок, воды и по временам взрывов сжатого воздуха.

— Это потоп,—промолвил один из рудокопов.

— Светопреставление,—сказал другой.

С тех пор, как мы были в верхней галлерее, Пюжоль не говорил ни слова: он не любил бесплодных жалоб.

— Ребята,—сказал он,—надо беречь свои силы. Если мы останемся так, упираясь руками и ногами, то скоро выбьемся из сил; нам нужно вырыть себе точки опоры.

Совет был хорош, но труден для исполнения. У нас были лампы, но никакого орудия.

— Воспользуемся крючками от наших ламп,—сказал Пюжоль.

И каждый из нас начал копать землю крючком от лампы; работа была трудная, потому что галлерея была сильно покатая и почва под ногами твердая. Но когда знаешь, что если поскользнешься, то найдешь верную смерть, являются откуда-то сила и ловкость. Через несколько минут у нас были готовы ямки для опоры ног.

Сделав это, мы вздохнули свободнее и присмотрелись друг к другу. Нас было семь человек: Пюжоль, около него я, дядя Гаспар, три забойщика: Паже, Компейру и Бергуну и еще один откатчик Каррори.

Шум в руднике продолжался с той же силой. Словами не выразить этого ужасного шума: выстрелы из пушек, вместе с раскатами грома и землетрясением, не могли бы произвести ничего более ужасного.

Обезумев от страха, мы растерянно смотрели друг на друга, как бы спрашивая: что же это такое?

— Конечно, это наводнение,—сказал Пюжоль,—но отчего оно произошло: вышла ли Дивонна из берегов и вода затопила наши шахты? Разразилась ли сильная буря, прорвался ли ручеек или произошло землетрясение? Чтобы объяснить это, надо быть на поверхности земли, а мы, к несчастью, под землей.

— Может быть, и город снесен?

— Все может быть...

Наступила минута молчания.

Шум падающей воды прекратился; по временам слышались какие-то глухие удары, и чувствовалось сотрясение почвы.

— Рудник полон и не принимает более воды,—сказал Пюжоль.

— Но где же Петр?—воскликнул Паже с отчаянием.

Петр, сын его, также забойщик, работал в третьем пласте. До сих пор чувство самосохранения мешало отцу думать о сыне; но слова Пюжоля „рудник полон“ напомнили ему о других.

— Петр, Петр,—кричал он раздирающим душу голосом, — Петр!

Никто не отвечал, даже эхо.

— Он, вероятно, укрылся также в восходящей галлерее,—сказал Пюжоль.—Не могли же утонуть все сто пятьдесят человек.

Мне казалось, что он говорил это неуверенным голосом. Утром спустилось в рудник не меньше ста пятидесяти человек: сколько из них могли подняться через шахты или найти убежище, подобно нам? Неужели все наши товарищи погибли?

Прошло несколько томительных минут молчания. Между тем, я чувствовал тяжесть в голове и шум в ушах. Мне стало трудно дышать, и я заявил об этом вслух.

А после этого посыпался ряд восклицаний.

— У меня голова болит.

— Меня тошнит.

— У меня стучит в висках.

— А я совсем одурел.

— В этом-то и заключается теперь главная опасность, — заявил Пюжоль. — Сколько времени можем мы прожить в этом воздухе — я этого не знаю. Если бы я был ученым, я бы мог определить это. Мы находимся на глубине сорока метров под землей и, вероятно, под нами от тридцати пяти до сорока метров воды; это значит, что воздух находится под давлением четырех или пяти атмосфер. Но можно ли жить в таком сжатом воздухе? Вот что нужно бы нам знать и что мы узнаем на собственном опыте.

Я не имел никакого понятия о том, что такое сжатый воздух, и потому был напуган словами Пюжоля; мои товарищи знали также не более меня и были взволнованы его словами.

А Пюжоль, сознавая всю опасность нашего положения, придумывал средства, которые можно было принять для нашей защиты.

— Теперь нам надо устроиться таким образом, — сказал он, — чтобы не соскользнуть в воду.

— У нас сделаны углубления.

— Разве вы не устанете, оставаясь все время в одном и том же положении?

— Нам нужно привязать себя друг к другу веревками.

— Откуда же взять веревки?

— Можно держаться за руки.

— Мой совет, лучше всего устроить площадки, какие бывают на лестницах; нас семеро, мы можем поместиться на двух таких площадках: четверо на одной, трое — на другой.

— Но чем мы сделаем эти площадки?

— У нас нет наших инструментов?

— На мягких местах земли нам помогут крючки от ламп, на твердых — ножи.

— Это нам никогда не удастся.

— Не говори так, Паже. В нашем положении все возможно, чтобы спасти жизнь; если кто из нас заснет в этом положении — тот погиб.

Благодаря своему хладнокровию и уверенности, Пюжоль приобретал над нами все большее и большее влияние. В то время, как мы все были подавлены обстоятельствами, он боролся против них. Мы ожидали от него помощи.

Мы принялись за работу и после трехчасового усердного труда мы вырубили площадку, на которой могли усесться.

— Довольно пока, — сказал Пюжоль, — отдохнем немного, надо беречь силы.

Мы сели: Пюжоль, дядя Гаспар, Каррори и я — впереди, остальные три — назади.

— Надо поберечь огонь, — сказал Пюжоль, — потушите все лампы и оставьте только одну.

Все стали исполнять это приказание.

Мы остались при свете одной лампы, слабо освещавшей наше помещение.

IV. Заживо погребенные.

В руднике водворилась тишина; никакой шум не доходил до нас; под нашими ногами вода стояла неподвижная, без ряби, без морщинки. Рудник затопило, наполнив все галлерей снизу доверху; вода замуравила нас более прочно, чем какая-нибудь каменная стена. Эта тяжелая, подавляющая тишина была ужаснее того шума, который мы слышали в момент поднятия воды; мы были заживо погребены в могиле, и тридцать или сорок метров земли лежали над нами.

Воздух становился все удушливее; я с трудом дышал, а в ушах у меня шумело.

Пюжоль, чтобы вселить в нас бодрость, сказал:

— Надо посмотреть, много ли у нас провизии.

— Так ты полагаешь, что мы долго пробудем здесь в плену? — спросил дядя Гаспар.

— Нет, но надо на всякий случай принять все меры предосторожности: у кого найдется хлеб?

Никто не отвечал.

— У меня, — сказал я, — есть корочка в кармане штанов.

— В таком случае твоя корочка превратилась в кашу. Покажи все-таки.

Я порылся в своем кармане, в который положил утром румяную, поджаристую корочку, и вытащил оттуда жидкую кашицу. Я хотел было бросить ее, но Пюжоль удержал меня за руку.

— Не бросай, Ренэ, — сказал он, — как ни плохо эта кашица, ты скоро найдешь ее вкусной.

Впоследствии, когда нам пришлось пережить ужасные страдания, я понял, что он был прав.

— Так ни у кого больше хлеба нет? — спросил он.

Никто не отвечал.

— Дело плохо, — сказал он.

— Разве ты голоден? — спросил его Компейру.

— Я не говорю о себе, а о Ренэ и Каррори: им нужен хлеб.

— А разве он нам не нужен? — сказал Бергуну. — Это несправедливо. Перед голодом все равны.

— Чем моложе человек, тем ему труднее переносить голод. Ренэ и Каррори, по своей молодости, раньше нас могут сделаться жертвами голода.

— Следовательно, если бы у нас был хлеб, — сказал Каррори после минутного размышления, — его отдали бы мне?

— Тебе и Ренэ.

Он подумал опять некоторое время, потом вдруг, вынув лопоту из шапки, сказал:

— Берите, вот кусок.

— Да это просто неистощимая кладовая — шапка Каррори! — воскликнул я.

— Передайте мне шапку, — сказал Пюжоль.

Он попросил посветить ему и стал рассматривать шапку. Хотя мы были далеко не в веселом настроении духа, этот осмотр рассмешил нас. В шапке лежали трубочка, табак, ключ, колбаса, свисток, сделанный из косточки персика, бабки из бараньих костей, три свежих ореха, луковица.

— Сегодня вечером я разделю между тобой и Ренэ этот хлеб и колбасу.

— Но я голоден уже и теперь, — сказал жалобно Каррори.

— Вечером ты будешь еще голоднее.

Разговор на этом прекратился, и мы погрузились в наши печальные размышления.

Несмотря на спокойный тон Пюжоля, я не был уверен в нашем спасении. Я боялся воды, боялся темноты, боялся смерти; тишина удручала меня; полуразрушенные подпорки галлерей как будто давили меня своей тяжестью. Мысли, одна другой мрачнее, пробегали в моей голове. Я взглянул на своих товарищей. Лица их выражали такое отчаяние, такую тоску, что мне сделалось жутко.

Вдруг, посреди тишины, раздался голос дяди Гаспара:

— Мне кажется, что наверху о нас забыли.

— Зачем вы так говорите, — сказал Пюжоль. — Вы отлично знаете, что рудокопы никогда не покидают товарищей в беде, и что несколько человек скорее сами погибнут, чем оставят хоть одного без помощи. Я не знаю, будем ли мы спасены, но я уверен, что наши товарищи работают для нашего спасения.

Он сказал это с такой убежденностью, что самые малодушные должны были успокоиться.

Однако Бергуну возразил:

— А если нас считают погибшими?

— Все таки будут работать, пока вполне убедятся в этом. Докажем им, что мы живы; будем стучать изо всех сил о подпорки галлерей. Вы знаете, с какой силой звук распространяется через землю; если нас услышат, то поторопятся и будут знать, в каком направлении нас искать.

Бергуну принялся изо всех сил стучать своими огромными деревянными башмаками, призывая товарищей. Этот стук вывел нас из оцепенения. Услышат ли нас? Ответят ли нам?

— Послушай, Пюжоль, — сказал дядя Гаспар, — что станут они делать для нашего освобождения, если услышат нас?

— Для этого есть только два средства, и я уверен, что инженеры употребят их оба: это пробить ход к нашей галлерее и выкачать воду. Мы находимся на глубине сорока метров; если каждый день будут отрывать по шести или восьми метров, то через неделю доберутся до нас.

Не знаю, сколько времени прошло, как вдруг внимание привлекли следующие слова:

— Послушай - ка, — сказал Каррори, который отличался необычайно тонким слухом. Но я ничего не слышал.

Мои товарищи, которые по привычке понимали всякий звук в руднике, были счастливее меня.

— Да, — сказал Пюжоль, — что-то происходит в воде.

— Что же такое? Вода, что ли, поднимается?

— Нет, шум не постоянный, а правильный и толчками.

— Толчками и правильный, — мы спасены, друзья. Это шум от черпаков в шахтах! — воскликнул Пюжоль.

Мы забыли, что находимся на глубине сорока метров под землей, что мы дышим сжатым воздухом, что на нас могут обрушиться подпорки галлерей, что у нас шумит в ушах; сердце радостно билось у каждого.

Что же случилось в руднике Трюер, отчего произошла катастрофа, и какие меры предпринимались для нашего спасения?

Когда мы спускались в шахту в понедельник утром, небо было покрыто темными тучами, предвещавшими грозу. К семи часам гроза действительно разразилась, сопровождаемая страшным ливнем. Низко нависшие над землей тучи забрались в узкую долину Дивонны и, окруженные со всех сторон скалами, не могли подняться наверх; весь запас дождя они вылили в долину. Это был уже не ливень, а настоящий потоп. В несколько минут воды в Дивонне и ее притоках поднялись, потому что дождевая вода не поглощалась каменистой почвой,

но бежала по склону прямо к реке. Вода вышла из берегов и затопила собой всю поверхность, под которой находился рудник. Разлив этот произошел почти мгновенно. Рабочие, которые занимались снаружи промывкой руды, вынужденные грозой найти себе убежище, не подверглись никакой опасности. Наводнение было ведь здесь не редкость, а так как вход в шахты был на значительной высоте, то не боялись, что вода проникнет в рудник. Поэтому занялись уборкой леса, приготовленного для подпорок галлерей. Вдруг инженер, руководивший работой, увидел поток, который стремился в только что образовавшуюся промоину на краю каменноугольного пласта.

В один миг он понял все, что случилось: вода устремилась в рудник по каменноугольному пласту; она убывала на поверхности и наполняла рудник. Полтора рудокопов спустились утром в рудник, полтора лампы было роздано; а теперь в ламповое отделение возвращено только тридцать ламп, — следовательно, не вернулось сто двадцать человек.

Между тем ужасная весть распространилась по городу. Со всех сторон стали сбегаться рабочие, любопытные, жены и дети погибших рудокопов. Спасательные работы начались немедленно. Во всех трех шахтах начали выкачивать воду в два черпака, не останавливаясь ни на минуту ни днем, ни ночью. В то же самое время начали прокладывать галлерею. Ее вели наугад, к старым копиям, потому что решили, что рудокопы могли спастись только в старых копиях, куда не могла проникнуть вода. Галлерею делали узкую, впереди шел один только пикер. Откалываемый им уголь немедленно укладывался в корзины и передавался из рук в руки рабочим, составлявшим цепь. Как только один пикер уставал, его сменял другой.

Время медленно тянулось для тех, кто работал над освобождением товарищей, а еще медленнее для нас, заключенных под землей. Надежда сменялась отчаянием. Мы беспрестанно задавали себе вопрос: доживем ли мы до тех пор, когда к нам придет на помощь?

V. Спасение.

Наше положение стало невыносимо на узкой площадке: было решено немедленно же расширить ее. Мы тотчас же приступили к работе, по прежнему способу, с помощью ножей.

Но, так как мы имели под ногами твердую точку опоры, то работа шла гораздо успешнее, и скоро нам удалось расширить нашу тюрьму.

Мы почувствовали большое облегчение, когда могли вытянуться во всю длину на своей площадке, а не сидеть все в одном и том же положении, со свесившимися ногами. Но во время работы случилось несчастье с одним из нас: Компейру оступился, упал в воду и утонул. Его смерть подействовала на нас удручающим образом, и мы долго не могли притти в себя от ужаса.

Прокладывание галлерей, между тем, не прекращалось ни на минуту, но работа медленно подвигалась вперед: уголь был очень плотный и твердый, и пикеры часто сменялись, а эта смена отнимала много времени.

На седьмой день, при смене спасателей, пикеру, откалывавшему уголь, показалось, что под землей слышатся слабые удары; желая проверить себя, он подзвал одного из товарищей и заставил его также послушать. Через минуту до них донесся слабый звук через правильные промежутки времени. Тогда они сделали несколько сильных ударов через определенный промежуток времени и, сдерживая дыхание, приложили ухо к каменноугольному пласту. Через минуту напряженного ожидания им ответили слабые, торопливые, правильные удары. Не могло быть никакого сомнения: там есть живые люди и их можно спасти.

Эта весть, как молния, проникла в город, и к руднику повалила толпа больше той, которая собралась в день несчастья. Жены, дети, матери, родные пострадавших прибегали, одетые в траур, к руднику, дрожа от волнения, с глазами, в которых искрилась надежда.

— Сколько там живых? Может быть много? Может быть и ваш жив и мой?

— Когда до нашего слуха достиг стук, он произвел на нас такое же сильное впечатление, как и первые звуки выкачиваемой воды.

— Спасены!

Этот радостный крик вырвался у всех нас одновременно, и мы думали, что нас сейчас выведут из заключения. Но радость быстро сменилась разочарованием.

Звуки кирки показывали, что рабочие находились еще далеко от нас. Может быть, нас разделял слой в двадцать или в тридцать метров. Доживем ли мы, пока дойдут до нас?

Пюжоль, так долго сохранявший бодрость, ослабел от голода. Пить мы могли сколько нам угодно, но голод становился настолько мучительным, что мы пробовали есть гнилое дерево, размоченное в воде. Каррори, который, очевидно, труднее нас всех переносил голод, разрезал на части оставшийся у него сапог и жевал куски кожи.

В последнее время положение наше ухудшилось от отсутствия света. Постепенно масло в наших лампах выгорало, и, когда осталось только две лампы, Пюжоль приказал их зажигать лишь в случае необходимости, а остальное время мы оставались в потемках.

В течение долгих часов, а может быть и целых суток, мы сидели неподвижно, прислушиваясь к стуку инструментов, которыми пробивалась галлерей, и шум черпаков, которыми выкачивалась вода.

Эти звуки становились все громче и громче. Вода заметно спадала, удары молотков также сделались гораздо сильнее. Вскоре мы отчетливо услышали два следующих слова, медленно произнесенных:

— Сколько вас?

Гаспар ответил:

— Шесть.

Наступила минута молчания. Очевидно, там думали, что нас гораздо больше.

— Ваши имена?

Он сказал наши имена.

Эта минута была самой тяжелой для многих, следивших за работами.

Нам тоже, в свою очередь, хотелось узнать, сколько товарищей спаслось.

— Сколько человек спасено? — спросил дядя Гаспар. Ответа не было.

— Они не слышат.

— Или, вернее, не хотят отвечать.

— Сколько времени мы находимся в заключении?

— Четырнадцать дней.

Четырнадцать дней! Никто из нас не предполагал, чтобы мы были здесь более шести.

— Теперь вы уже не долго останетесь там. Не теряйте мужества. Не будем больше разговаривать: это замедляет работу.

Эти часы были самые длинные в продолжение нашего заключения. Каждый удар кирки казался нам последним; но за этим ударом следовал другой, а за другим третий.

Наконец, несколько больших кусков оторвалось и упали между нами; в потолке нашей галлерей образовалось отверстие; мы были внезапно ослеплены светом ламп.

Б. Келлерман.

МАК-АЛЛАН.

С десяти до тринадцати лет он принадлежал кармии тех безызвестных миллионов, которые всю свою жизнь проводят под землею и о которых никто не помышляет, пока не произойдет какая-нибудь катастрофа.

Аллан родился в западном угольном округе, где атмосфера была наполнена дымом, визгом фабричных свистков и сажей, которая порой дождем сыпалась на землю. Иногда все небо вспыхивало и загоралось ярким сиянием от огня гигантских печей. Поэтому самое первое и неизгладимое впечатление получено было им от огня. Этот огонь появлялся ночью на небе, точно огненные головы на толстых туловищах, и пугал его. Иногда он принимал вид пылающей горы в печах напротив, и он видел, как люди направляли на эту пламенеющую гору струи воды, превращающейся в огромное облако пара, в котором все исчезало. Люди появлялись всегда группами на улице, вдоль которой тянулись потемневшие от дыма и угольной пыли кирпичные домики. Эти люди всегда были черны, и даже по воскресным дням в глазах у них была угольная пыль.

Во всех их разговорах непременно упоминалось название шахты „Дядя Том“. В этой шахте работали отец и брат Мака и все остальные рабочие. Улица, на которой вырос Мак, всегда была покрыта блестящей черной грязью. В конце улицы протекал мелкий ручей, и чахлая трава, растущая по его берегам, была

не зеленого, а совершенно черного цвета. Ручей тоже был грязен, и на поверхности его виднелись большие масляные пятна, отливающие на солнце разными цветами.

За ручьем начинался уже ряд печей для обжигания кокса, а за ними совершенно черные, железные и деревянные постройки, по которым беспрерывно двигались тачки. Всего больше привлекло взоры Мака огромное колесо, точно висевшее в воздухе. Оно иногда бывало неподвижным, но порой начинало вертеться с жужжанием, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее и постепенно достигало такой быстроты, что уже нельзя было разглядеть его спиц. Затем быстрое движение сменялось медленным, и колесо опять останавливалось.

Пяти лет Мак был посвящен своим братом Фредом и другими маленькими конюхами шахты в тайну добывания денег, путем разных мелких услуг и продажи цветов и старых газет, собираемых в вагонах трамваев. Маленький Мак был очень горд, когда ему удавалось получить цент, и он всегда отдавал его Фреду, а за это—ему снисходительно разрешалось проводить воскресные дни в трактире, где собирались юные конюхи. Он достиг такого возраста, когда изобретательный мальчуган может уже раз'езжать по целым дням, не платя за проезд ни одного цента.

И он жил, как паразит, пользуясь всеми движущимися экипажами для своих прогулок. Потом, однако, он уже стал работать за свой собственный счет: собирал на постройках бутылки и продавал их, говоря: „Отец послал меня“. Но однажды его поймали и больно избили за это, что положило конец его прибыльному занятию.

Когда ему минуло восемь лет, отец взял его за руку и повел в шахту. Он дал Маку серую шапку и большие сапоги, которые носил его брат Фред. Сапоги были так велики, что Мак мог их отшвырнуть в другую комнату со своей ноги только одним движением. Этот день так запечатлелся в памяти Мака, что он ни-

когда не мог позабыть его. Он и теперь еще живо помнит, как он, испуганный и взволнованный, шел со своим отцом по шумному двору шахты. Работы в шахте были в полном разгаре. Воздух дрожал от крика, свиста, шума повозок, тачек и грохота вагонеток. Все находилось в движении. А наверху жужжало колесо, которое Мак уже много лет наблюдал издали. Сзади, из коксовых печей, поднимались столбы огня и облака дыма и пара. Копоть и угольная пыль точно падали с неба. В широких трубах раздавался свист. Из холодильников с шумом лилась вода, а из толстой, высокой, фабричной трубы беспрестанно валил дым, черный, как смола.

Чем ближе они подходили к закопченному кирпичному зданию с потрескавшимися оконными стеклами, тем громче становился шум. В воздухе раздавался визг, точно кричали тысячи маленьких детей, подвергающихся истязаниям.

Земля дрожала.

— Что это кричит так, отец,—спросил Мак.

— Это уголь—отвечал отец.

Никогда Маку не приходило в голову, что уголь может кричать.

Отец поднялся с ним по лестнице большого, содрогавшегося от движения машин, здания и чуть приоткрыл большую дверь.

— Здравствуй, Иоса, сказал он.—Я хочу показать мальчику твои машины.

Мак взглянул в машинное отделение, где какой-то человек сидел на стуле и упорно смотрел в одну точку, держа руки на блестящих рычагах. Как только раздавался сигнальный звук колокола, человек передвигал рычаги, и гигантская машина приходила в действие. Мак был совершенно ошеломлен. Он никогда не видел ничего подобного. Затем отец отвел его наверх по очень крутой лестнице, по которой он с трудом поднимался в своих огромных сапогах, в другое отделение, где стоял оглушительный шум и работали такие же мальчики, как он, запуская руки в сыпавшийся уголь,

быстро выбирая из него каменную породу и бросая ее в железную тележку. Уголь двигался перед ними непрерывным потоком и, точно огромный черный водопад, падал вниз через отверстие в полу на железнодорожные вагоны и отвозился дальше.

По обеим сторонам длинного черного потока стояли мальчики, такие же, как он, только совершенно черные, и выбирали из него камни. Один из мальчуганов крикнул Маку, чтобы он смотрел. Мак не сразу узнал его. Это был мальчик, живший с ним по соседству, у которого была заячья губа. Мак накануне с ним подрался из-за того, что тот набросился на него, когда он называл его „зайцем“. Это было данное ему прозвище.

— Мы отбираем камни, Мак, — крикнул ему на ухо заяц. — Их ведь нельзя продавать вместе с углем.

Мак скоро понял, в чем дело, и научился отличать по блеску и излому уголь от каменной породы. Он простоял на этой работе два года, и тысячи тонн угля прошли через его маленькие руки.

Каждую субботу он получал свою заработную плату, которую должен был отдать всю до последнего цента своему отцу. Когда же ему минуло девять лет, он уже считал себя взрослым мужчиной и, отправляясь в свободное воскресенье в кабачок, надевал воротник и такую шляпу, какую носят взрослые. Он старался говорить, как мужчина, своим звонким голосом мальчика, проводящего целые дни среди оглушительного шума. Но он был наблюдателен и поэтому знал гораздо больше своих сверстников относительно всего, что касается угля, откуда он берется и какие вещества и газы добываются из него. Большинство мальчиков не имело ни малейшего понятия, откуда берется тот бесконечный поток угля, который изливается в вагонетки. День и ночь, не переставая, гремели железные двери шахты; день и ночь нагруженные углем вагонетки поднимались вверх и, высыпав уголь, убегали обратно.

Уголь встряхивался в огромных ситах, где и сортировался. Звук, который слышался при этом, назывался

„криком углей“. Падающий через сито уголь попадал в бассейн с текущей водой, которая уносила его с собой, а камни опускались на дно. Промытый уголь, двигаясь дальше, проходил через пять сит с разными отверстиями. Крупный уголь опускался вниз и нагружался в вагоны.

Но десятилетний будущий инженер уже знает и то, что ни угольная пыль, ни мелкий уголь не пропадают даром. Их „высасывают“, пока ничего не останется.

Угольный мусор спускался по дырявой железной лестнице. Эта чудовищная лестница, покрытая сероватой грязью, казалась неподвижной, но если к ней присмотреться, то можно было заметить, что она медленно, очень медленно движется, через два дня каждая ступенька достигала верха, опрокидывалась и высыпала угольную пыль в громадную воронку. Оттуда этот мусор попадал в коксовые печи, превращался в кокс, а из газов извлекались разные химические продукты. Это было химическое производство шалты, и Мак знал его. Десяти лет он уже получил от отца желтую суконную куртку углекопа, повязал шерстяной шарф за шею и спустился в первый раз туда, откуда добывается уголь. Темнога и жуткая тишина галлерей, куда его поставили на работу, сначала сильно угнетали его. Сперва он только учился управлять лошадью и перевозить тележки с углем под наблюдением другого юного конюха, но потом его оставили одного справляться с этой задачей; хотя в этой подземной галлерее работали сто восемьдесят человек, но Мак редко видел кого-нибудь, и его постоянно окружало безмолвие могилы.

Только в одном месте этой галлерей господствовал такой грохот, что два человека, работавшие там с пневматическими бурами и сверлящие скаду, давно уже должны были оглохнуть. Для Мака было настоящим событием, когда в каком-нибудь месте темной штольни показывался огонек лампочки углекопа.

Мак должен был ходить взад и вперед по пустынным черным, низким коридорам, собирать по дороге

угольные повозки и отвозить их к шахте. Там он запрягал лошадь в готовый поезд и отвозил его в назначенные места. Он прекрасно изучил весь лабиринт штольней, каждую отдельную балку, поддерживающую свод, и все угольные пласты, носившие различные наименования, а также все сложное устройство дверей и вентиляций штольней. Каждый день он спускался со своими товарищами в корзине в шахту и также поднимался из нее, совершенно не думая об этом.

Там, в шахте, Мак привязался к старой белой лошади, которою он управлял; эта лошадь прежде называлась „Наполеон Бонапарте“, но теперь ее кличка была „Бонней“. Она уже много лет провела в темноте под землей и была полуслепая, но жирная, мало-подвижная и очень флегматичного нрава. Мак не очень нежно обращался с нею, но все же любил ее и даже, спустя многие годы, с грустью вспоминал Боннея, когда видал старую, белую лошадь, запряженную в телегу.

Мак работал почти три года в штольне, когда там произошел взрыв рудничного газа, и он чуть не погиб. Эта катастрофа, о которой еще многие помнят, стоила жизни 272 углекопам, но она - то и принесла счастье Маку.

Взрыв произошел ни третью ночь после Троицы, в нижней части шахты. Мак отвозил назад свой поезд пустых тележек и весело насвистывал песенку, которую каждый вечер граммофон наигрывал в кабачке Джонсона. Вдруг ему послышался сквозь лязг железных тележек какой-то отдаленный грохот, и он машинально заглянул вверх. Он увидел, что деревянные балки и подпорки начали склоняться и гора рухнула. Он рванул лошадь из всей силы и громко крикнул ей в ухо, чтобы заставить ее побежать скорее. Лошадь испугалась треска, попробовала бежать галопом, но груда каменных обломков завалила ее. Мак бросился бежать, как безумный. Позади него двигалась гора, но и впереди трещали балки и рушился потолок. Обхватив голову руками, он несколько раз покружился на месте,

как волчок, и наконец, бросился в боковой проход... Штольня обрушилась с грохотом, боковая галлерей тоже затрещала, и Мак, подгоняемый градом сыпавшихся камней, побежал, сломя голову. Он бежал, вертясь, как волчок, прижимая руки к вискам, крича изо всех сил.

Он дрожал всеми членами и почти совершенно обесилел. Тут он увидел, что прибежал назад в конюшню. Вероятно, и старая лошадь сделала бы то же самое, если бы обвал не преградил ей дорогу. Мак должен был сесть, потому что ноги у него подкашивались. Целый час просидел он так, ничего не соображая. Наконец, он занялся своей лампочкой, которая едва мерцала, и осветил ею окрестность. Он оказался совершенно запертым. Кругом него были горы обломков и угля, закрывшие все выходы. Мак задумался над тем, как это могло произойти, но ничего ему не приходило в голову.

Так он просидел многие часы. Он плакал от отчаяния, подавленный своим одиночеством, затем немного овладел собой, и к нему вернулась его жизненная энергия. Было ясно, что в шахте произошел взрыв рудничного газа, лошадь была засыпана обвалом, но его-то, наверное, откапают.

Мак сидел на земле, рядом со своей маленькой лампочкой и ждал. Он прождал час, два, потом вдруг им снова овладел ужас. Он вскочил и, взявши лампочку, отправился на поиски выхода. Он осмотрел все вокруг, но нигде ничего не было видно, кроме груды обломков. Ничего, значит, другого не остается, как ждать. Осмотрев ящик с кормом, он снова сел на землю, стараясь дать своим мыслям другое течение. Он думал о погибшей лошади, о своем отце и Фреде, которые вместе с ним спустились в шахту, о кабачке Джонсона, о пении фонографа, об игре в покер... И ему представлялось, что он бросает на ставку пять центов... вертит рулетку и всегда выигрывает.

От этих мыслей пробудил его какой-то странный звук, точно звонок телефона. Мак напряженно прислу-

шался. Потом он вдруг понял, что ничего не слышал. Кругом была тишина. Ни одного звука не раздавалось у него в ушах, и эта ужасная тишина была невыносима. Он засунул в уши указательные пальцы и потряс их. Потом он откашлялся и громко сплюнул. Прислонив голову к стене, он долго сидел и смотрел на солсму, приготовленную для лошади. Потом улегся на эту солому с мучительным чувством глубокого отчаяния и, наконец, заснул.

Он проснулся, как ему показалось, спустя несколько часов, вследствие ощущения сырости. Лампа погасла, и он шлепал ногами по воде, когда попробовал сделать несколько шагов. Он был голоден, и, взяв горсть овса, принялся его жевать. Сидя на корточках в конюшне Боннея, он смотрел в темноту и грыз одно зерно за другим, прислушиваясь с напряжением.

Но он не слышал ни голосов, ни стука, а только журчание воды и плеск водяных капель.

Темнота была ужасна. Через несколько минут он вдруг вскочил, заскрежетал зубами, и, как бешеный, бросился вперед. Он натыкался на стены, ушиб раз два голову и с бессильной злобой ударял кулаками по камню. Но эти припадки безумия длились недолго. Он ощупью пробрался назад к стойлу и начал снова жевать овес, а слезы так и струились у него из глаз.

Так он сидел часы за часами. Нигде ничего не было слышно... О нем забыли.

Мак сидел, жевал овес и думал. Его детская голова усиленно работала. У него явилось хладнокровие. Эти страшные часы должны были показать, на что он годен.

Вдруг он вскочил, и, потрясая кулаком в воздухе, вскричал: „Если эти проклятые дураки меня не откопают, то я сам выберусь отсюда“.

Однако он не сразу принялся копать. Снова присев на загородке стойла, он долго думал, стараясь мысленно воспроизвести план штольни, взяв за исходную точку конюшню. Пробраться через южные штольни нельзя.

И если вообще можно как-нибудь выбраться отсюда, то лишь через штольню „Веселая тетка“ или пласт Патерсона. Мак знал, что разработка этого пласта находится в 70, 80 или 90 шагах от конюшни. Это ему было наверное известно. Уголь в „Веселой тетке“ сделался хрупким под давлением горных пластов, а это было очень важно. Еще за час до катастрофы он говорил Патерсону: „Эй, Пат, Гиккинс жалуется, что мы доставляем только мусор“.

Потное лицо Пата появилось тогда перед ним, освещенное лампочкой, и Пат крикнул ему с раздражением... „Пусть Гиккинс убирается к чорту, скажи ему, Мак, к чорту. «Веселая тетка» уже вся превратилась в мусор, гора раздавила ее. Пусть же он держит язык за зубами или пусть нас переведут отсюда“.

Пат скрепил этот пласт солидными подпорками, боясь, чтобы его не завалило. Пласт был вышиной в два с половиной метра, и от него можно было пройти к седьмой штольне.

Мак начал считать шаги. Отсчитав семьдесят, он испытал чувство ледящего страха. Но, когда отсчитав еще пятнадцать шагов, он вдруг наткнулся на камень, то невольно вскрикнул от радости. Охваченный энергией, напрягая все свои силы, от тотчас же принялся за работу. Через час, стоя по колени в воде, он пробил нишу в каменной груде. Но он совершенно изнел и от испорченного воздуха в штольне испытывал тошноту. После часового отдыха он снова принялся за работу. Он работал медленно и с большой осторожностью, ущупывал камни и сверху и с боков, чтобы обеспечить себя от обвала. Он подпирал камнями висевшие глыбы, которые угрожали рухнуть, притащил доски и балки из конюшни для подпорок и выкатывал прочь куски скалы. Так он проработал много часов, тяжело дыша, и, наконец, совершенно обессилев, свалился на доски и уснул. Проснувшись, он стал прислушиваться, но, так как ничего не услышал, то вновь принялся за работу.

Он копал и копал. Так проработал он несколько дней, а всего надо было пробить только 4 метра. Долго потом ему снилось, что он копает и старается пробраться через камень...

Наконец, он почувствовал, что приблизился к месту выхода пласта. Он распознавал это место по тонкой угольной пыли и рассыпавшемуся углю. Наполнив карманы овсом, он стал взбираться по пласту вверх. Подпорки его уцелели, и Мак, дрожа от радости, проби́лся между ними, поднимаясь вверх. Назад он уже не мог вернуться, потому что уголь осыпался под его ногами и заваливал ему обратный путь. Вдруг он почувствовал под рукой чей-то сапог и по некоторым признакам догадался, что это был сапог Петерсона. Бедняга был тут засыпан, и это открытие так подействовало на Мака, что он долго не мог двинуться с места, скованный ужасом. Он никогда не мог вспомнить потом без содрогания эту страшную минуту. Когда он, наконец, овладел собой, то начал медленно пробираться дальше. Работа шла медленнее, хотя в этом месте пласты были в лучшем состоянии. Но он сильно ослабел и с трудом мог продвигаться вперед. Обливаясь потом и совершенно разбитый, он достиг под'ема в седьмую штольню. Однако, идти дальше не мог и улегся спать. Проснувшись, он медленно полез по рельсам под'емной дороги, ведущей из восьмой штольни, где он находился, в седьмую.

Наконец он выбрался наверх. Штольня была свобод а...

Усевшись на корточки, он пожевал овса и затем, облизав свои мокрые руки, пошел дальше по направлению к шахте. Он так же хорошо знал верхнюю часть копей, как и нижнюю, но засыпанные в разных местах штольни часто заставляли его менять направление. Он бродил часами, пока от утомления у него не зазвонило в ушах. Но он должен был пробраться в шахту во что бы то ни стало. Там есть колокол, и он может дать сигнал...

И вдруг, как раз в эту минуту, когда он начал приходить в отчаяние при мысли, что может оказаться запертым здесь, он вдруг увидел красноватые огоньки лампочек. Их было три.

Мак хотел закричать и раскрыл рот, но не издал ни звука и свалился без чувств. Возможно, однако, что он все же слабо крикнул. Двое из нашедших его людей утверждали, что они не слышали ничего, а третий говорил, что ему показалось, будто он слышал слабый крик.

Мак почувствовал, что его кто-то несет. Затем ощутил движение поднимающейся корзины, очень медленное, и на мгновение очнулся. Корзина остановилась, кто-то накрыл его одеялом и снова понес, но больше он ничего не помнил...

Мак пробыл под землею целую неделю, он же думал, что прошло только три дня.

Из всех людей, работавших в этой штольне, Мак один только спасся и вышел на свет скорее похожим на призрак, нежели на живое существо. Его история в свое время облетела все американские и европейские газеты. Везде появились картинки, изображавшие, как его выносят из шахты, и его портрет, когда он лежал в больнице. Через 8 дней он уже был на ногах и узнал, что его отец и брат погибли во время взрыва. Мак закрыл лицо руками и горько заплакал: теперь он был совсем одинок на свете.

В. Дмитриева.

КОСРЯШКА И ЕРМОЛКА.

I.

В конце февраля солнце начало припекать-по весеннему, и мертвая степь, пригретая его горячими лучами, оттаяла и ожила. В балках и яругах зашевелились и запели ручейки; изрытая шахтами земля жадно впитывала в себя тепло, и над ее черной, больной грудью вились влажные, голубые туманы. Бодрый, веселый ветер часто пролетал с полуденной стороны, принося с собою запах моря и весны, и от его дыхания быстро таяли снега. Тысячами сверкающих змеек расползлись они по степи и буравили ее, как бы желая до самого недра земли донести радостную весть о весне. И, должно быть, их голоса доходили до слуха черных, измученных людей, потому что странное беспокойство распространилось по всем шахтам.

Каждый день при сменах надсмотрщики не досчитывались кого-нибудь из шахтеров, а внизу, среди однообразного постукивания молотков, часто слышались такие разговоры:

— А что, ребята, ведь вчера с Макарьевского рудника опять восемь человек ушло?

— И смоленская артель от Киндеева рассчиталась...

— Ну? Да когда же это они?

— Да еще на прошлой неделе их видали, как они на вокзал ушли. С узлами, с сундуками,— стало-быть, совсем.

— Ну, шабаш!.. Бежит народ. Небось, хозяева-то плачут!

— Заплачут! К пасхе, поди, и половины не останется.

На минуту разговоры смолкали, и какие-то неопределенные мысли блуждали в головах призадумавшихся шахтеров. И вдруг чей-нибудь робкий голос раздавался среди наступившей тишины:

— Что же, братцы... ведь эдак и... того... пожалуй, и нам ко дворам пора... ась?

И так как эти робкие слова выражали общую мысль и общее желание, то сейчас же товарищи откликались на них сдержанным гулом одобрения. А на другой день новая партия шахтеров, взвалив на плечи пожитки, тянулась к вокзалу, и прокопченные насквозь угольной пылью груди их радостно вдыхали острый холодок степи и весны. После долгих, черных дней подземной жизни деревня представлялась им каким-то светлым раем... забыта была деревенская голодуха, забыты недоимки, и шахтеры шли, не оглядываясь назад и во все горло распевая песни. Те, которым некуда было идти, с тайной завистью провожали их глазами... и когда последний отзвук их песни замирал в блеске солнечного дня, они угрюмо возвращались в свою подземную тюрьму.

Все это время Косряшка был, как в лихорадке. На сменах он с беспокойством шнырял между шахтерами и жадно прислушивался к их разговорам, а вечером за ужином с притворным равнодушием говорил, ни к кому особенно не обращаясь:

— Нынче опять страсть сколько народищу рассчиталось... Все в деревню идут... видимо-невидимо!

И он во все глаза смотрел на дядю, с нетерпением дожидаясь, что тот ответит... Но Финогеич молчал, как будто это его совсем не касалось, и лицо его было непроницаемо, точно стена. Разочарованный и печальный, вылезал Косряшка из-за стола.

Финогеич тушил огонь, и скоро вся артель засыпала мертвым сном, только храп стоял в избе. Но

Косряшке не спалось. Он вздыхал, ворочался с боку на бок и, наконец, потихоньку спустившись с нар, осторожно выходил на крыльцо. Яркая лунная ночь сияла над спящим городом; ледяные сосульки, натаившие за день, сверкали, точно бриллиантовые, под навесом крыши; иногда какая-нибудь из них отрывалась и с нежным звоном падала на землю. А там, в степи, шумела по балкам весенняя вода, и в этом шуме Косряшке чудилось что-то гордое, сильное и свободное.

Мальчик затосковал. По ночам он плохо спал, а утром вставал вялый, сонный. и с отвращением шел на работу. Шахта ему опротивела, и он с нетерпением дожидался смены, чтобы поскорее вылезть на свет и слушать, слушать без конца, как поют ручьи и дышит земля. Но убежать было нельзя: со всех сторон стояли угрюмые, закопченные трубы шахт и с угрозой смотрели на Косряшку, как будто говоря: „Нет, брат, шалишь, отсюда не уйдешь, да и уйти то некуда“...

— Что же это такое будет? — жаловался он Ермолке. — Гляди, сколько время прошло, скоро, чай, и журавли полетят, а дяденька и не собирается! Небось, нас дома-то ждут, не дождутся, бабушка все глаза проглядела...

Ермолка молчал и, не подымая глаз, ковырял пальцем землю.

— Смерть-тоска! — продолжал Косряшка. — Как выдешь вечером в степь, ажно сердце загорится... Так бы вот взял, да и убег!

Он взглянул на Ермолку, ожидая сочувствия, и вдруг заметил, что приятель его сидит, как в воду опущенный.

— Да ты чего это, Ермолка? Аль опять с мальчишками дрался? — спросил Косряшка. — Пойдем ужо вместе, — я их вздую!

— Не надо... — проговорил Ермолка тихо. — Не мальчишки... Мне тебя жалко!.. Уйдешь ты от нас... и меня забудешь. А я к тебе привык.

Он сказал это с такой печалью, что у Косряшки сердце сжалось от жалости.

— Ну, вот тебе... забуду! — успокоительно вымолвил он. — Небось, не забуду.

— Забудешь! — повторил Ермолка. — А я к тебе привык... Теперь опять один под землей останусь.

И, уставившись в землю, он снова начал ковырять ее ногтями.

Шахты с каждым днем пустели все больше и больше, а в 4-м номере и не помышляли о возвращении домой. Финогеич продолжал упорно молчать и сохранял все тот же непроницаемый вид. Болезненная жадность обуяла Финогеича и, увлекаемый все новыми и новыми хозяйственными планами, старик только и думал теперь о том, как бы прибавить еще несколько лишних рублей в свою кошну. Кошель, с которым он теперь не расставался ни днем, ни ночью, своей тяжестью давил ему грудь, но Финогеич все еще не был доволен и со дня на день откладывал свое возвращение в деревню. „Еще успеется!“ думал он. „Все равно, дома теперь делать нечего, вот придет праздник, тогда и поглядим!“.

И когда кто-нибудь из артели заводил при нем разговор о том, что хорошо бы пасху дома встретить, упрямый старик притворялся глухим и ничего не отвечал.

А весна была уже в полном ходу. Снег давно стоял, и обнаженная степь дышала теплом, как хорошо нагретая печка. Кое-где по заброшенным шахтам робко проступила зеленая травка и нежилась на солнце; чуть не каждый день вереницы дикой птицы пролетали над степью и их деловитое гоготанье звучало, как призыв, волнуя шахтерские сердца смутным желанием уйти куда-нибудь подальше отсюда... Косряшке надоело ждать, и он решил, наконец, приступить к дяде с прямым вопросом насчет возвращения домой.

Это было после обеда. Шахтеры немножко подвыпили и вместо того, чтобы завалиться спать, пошли в город гулять. Дома оставались только дядя Финогеич и Косряшка. Старик сидел за столом и озабоченно высчитывал что-то по пальцам; Косряшка исподтишка наблюдал за ним, и от нетерпенья у него так и зудело в языке.

— Дяденька, а дяденька! — начал он вдруг решительно.

— Ну? — вопросительно промычал дядя, далеко отставив указательный палец и не сводя с него озабоченного взгляда.

— Я, дяденька, вот что... Когда же мы домой-то поедем, а? а?

Финогеич сделал вид, что не слышит, и загнув палец, забормотал про себя: „Ежели десятку вон, — будет три красных... Три красных да бумажка, да еще бумажка, — это стало-быть тридцать три целковых... Так-с... А ежели еще харч...“.

— Дяденька! Когда же поедем-то? — почти закричал Косряшка. — Пора уж, ведь... Ведь, небось, там уж жду-ут...

— А тебе что?.. Тебе какое дело? — сердито заворчал Финогеич. — Ишь ты, пашенок... „Ждут!“.. Я вот тебе подожду за вихор... натрясу хорошенько, — поедешь к Маланье на свободу! Умны больно стали... не в свое дело нос тыкать! Безотцовщина!..

У Косряшки слезы навернулись на глаза, но он скрепился и вышел из избы огорченный и обиженный. „Ишь ты какой!“ — думал он с досадой. — „Туда же лаяться... злющий да скупой, — и на кой шут ему деньги?“

II.

Утром Косряшка встал пасмурный и скучный. Всю ночь ему снилась бабушка, с которой они будто ходили по лугам и вили венки из каких-то невиданных красных цветов. Их было так много, что весь луг точно кумачем был покрыт, а бабушка смеялась и говорила: „Рви, рви, Косряшенька, — завтра у нас троица!“. Проснулся Косряшка, а кругом все те же противные стены, те же лица, и надо вставать и лезть в эту проклятую шахту. Нет ни бабушки, ни цветов...

Косряшка искоса посмотрел на Михейку... Он был бледен, сидел, опустив глаза в землю, и все дергал плечами, точно ему было холодно.

„Эх, неладно у нас! А дяденька только об деньгах и думает!“ — прошептал мальчик, натягивая на себя свои пропитанные углем штаны с пухлыми заплатами на коленках. Нынешний сон вспомнился, и Косряшке страшно захотелось снова лечь, заснуть и уйти в тот мир, где растут на приволье красные цветы и где нет ни угля, ни черной шахты, по которой ходит серая хмарь...

— Ну, чего же ты ворочаешься, нет на тебя пропасти! — заворчал на Косряшку шахтер Саламаткин, совсем уже готовый уходить. — Другие уже позавтракали давно, а он прохлаждается... принец какой! Иди скорей!

Они вышли. Солнце еще не взошло, но заря уже червонным золотом разливалась по небу и в степи было совершенно светло. Дым, освещенный зарею, подымался прямо вверх, и, казалось, из всех труб бьют золотые фонтаны. На небе не было ни одного облачка, и оно было такое чистое, такое радостное, точно готовилось встретить какой-то великий праздник. Даже сердитый с похмелья Иван Саламаткин поднял голову и загляделся на него.

— Эх, и денек нынче будет! — воскликнул он и почему-то вздохнул... может быть потому, что ему не придется увидеть этого денька.

Вдруг он остановился, и оба они с Косряшкой замерли на своих местах, запрокинув головы кверху. Прямо над ними, растянувшись косяком,плыли журавли и степенно переговаривались между собою, как будто обсуждая важное дело. „Куды? Куды?“ — спрашивали одни сурово и озабоченно. А другие им торопливо отвечали: „Не туды, не туды“...

— Стало-быть, держи прямо! — сказал Саламаткин, провожая их глазами. — Правильная птица — журавль, серьезная птица! Ишь ты, в нашу сторону взяли... Кланяйтесь нашим!.. — крикнул он им вслед и засмеялся.

Потом, когда птицы скрылись из виду, Иван Саламаткин повернул свое просветленное лицо к Косряшке и сказал добродушно:

— Ну, парень, а теперича пойдем! Журавли — журавлями, а как бы нам с тобой синицу не прозевать...

Но они пришли во-время, и клетка еще работала, спуская вниз дневную смену.

Звякнул звонок, зажужжали стальные канаты, и клетка глухо стукнулась в помост. — „Заходи ребята, заходи, не задерживать!“ — крикнул надсмотрщик снизу. Шахтеры вошли в клетку, и тяжелая дверь закрыла перед ними и золотую зарю, и журавлей, и ясное, чистое небо, радостно ожидающее восхода солнца.

В обед Косряшка побежал к Ермолке рассказать про журавлей. Он очень удивился, не найдя Ермолки на его обычном месте. Пошарив около двери, он крикнул: „Ермолка! А, Ермолка!..“, но никто ему не отвечал, только вода, струившаяся по сводам галлерей, тихо пела свою жалобную песенку.

— Куда же это он делся? — сказал озадаченный Косряшка, озираясь, и вдруг свет его коптюльки упал на какой-то темный комок, лежавший у стены. Косряшка присел наземь и осторожно потрогал комок: он был теплый, мягкий и как будто дышал.

— Ермолка! — воскликнул Косряшка, тормоша свою находку. — Да никак это ты? Чего ты тут валяешься? Спишь, что ли?

Ермолка пошевелился и поднял голову. Он весь дрожал, как в лихорадке, и широко открытые глаза его были тусклы, точно у мертвеца.

— Голова дюже болит... — пробормотал он, едва слышно.

— Так чего же ты на мокрой земле растянулся? — с участием сказал Косряшка. — Лихоманку эдак еще схватишь...

Ермолка тупо смотрел на него, как будто не понимая.

— Болит голова... — повторил он невнятно. — Так и кружится, так и кружится... и стены кружатся... А, ведь, я опять слышу! — прибавил он и уставился на Косряшку своими большими, тусклыми глазами.

— Опять? — с испугом спросил Косряшка, понизив голос. — Что же она... опять плачет?

— Гуде-ет... гуде-ет!... Вода идет... — нараспев вымолвил Ермолка, раскачиваясь во все стороны. — Ой, гудет вода... идет беда!.. Небо, небо падает!.. — закричал он вдруг не своим голосом и в судорогах опрокинулся навзничь, царапая землю ногтями.

Объятый холодным ужасом, Косряшка бросился от него бежать. На продолине он столкнулся с каким-то шахтером и остановил его.

— Дяденька... там с Ермолкой чего-й-то... — задыхаясь, сказал он. — Никак, он помирает... Корезит его... а сам страшный!..

Рабочий остановился и, спросив Косряшку подробно, в чем дело, равнодушно махнул рукой.

— Э, ничего, — не помрет! — сказал он. — Это с ним бывает... вроде как бы падучка. Полежит-полежит — и отойдет. Пуще всего в этакое время трогать не надо. А помереть — не помрет.

Косряшка немного успокоился, но возвращаться назад к Ермолке ему было страшно, и он пошел в 4-й номер. Там еще не работали, хотя обеденный час давно прошел, и, всей артелью столпившись у забоя Ивана Саламаткина, о чем-то озабоченно разговаривали.

— Что за оказия? — говорил один из шахтеров. — С чего бы ей течь?

Все принялись разглядывать крышу забоя, с которой тихими струйками стекала вода.

— Крепь плохой! — сказал другой шахтер, постукивая обушком по деревянному столбу, подпирающему верх забоя. Какой это крепь, — в нем никакой державы нету: вот он, уголь-то, и наседает.

— Надо к штенгору сходить, — озабоченно произнес Финогеич. — Что такое, никогда этого не бывало! Ты погоди, Иван, а я пойду за штенгорем.

— Ну, вот еще, стану я тебе годить! — с неудовольствием возразил Иван Саламаткин. — Вы тут болты болтаете, а работа стоять будет! Эка беда — течет! Потечет-потечет, да и перестанет!..

И он полез под крышу, занял свое привычное место в забое и начал стучать обушком.

Вода все сочилась потихоньку, звучно ударяясь в землю. Финогеич ушел. Глядя на Ивана Саламаткина, и другие рабочие принялись за дело. Только у Косряшки было беспокойно на душе, и он все думал о Ермолке, который, может быть, все еще корчился там, на земле, всеми брошенный и одинокий. А тут еще на него сверху капала вода, забиралась за шиворот и ледяными нитками расползалась по телу. „Гудет вода, идет беда!“ — вспоминал Косряшка Ермолкины слова и, ежась, со страхом поглядывал наверх.

— Дяденька, а ну, как она дюжей пойдет? — спросил он Ивана Саламаткина. Тот ничего не отвечал и продолжал бухать по пласту.

Между тем, весть о том, что в 4-м номере с крыши течет вода, разнеслась по шахте, и к 4-му номеру стали стекаться любопытные. Приходили, осматривали и ощупывали крепь, стучали по пласту и опять уходили, а на их место являлись другие и тоже осматривали и ощупывали. Вода с ласковым журчаньем струилась им на голы, забиралась в бороды, одному даже попала в рот и, когда он отплеывался и отфыркивался, слышались шутки и смех.

— Что, брат, нескусно? Это тебе, знать, не водочка! Небось, кабы водка была, только бы облизывался!

Молодой откатчик, так неудачно хлебнувший воды, тоже смеялся вместе со всеми.

— Эх, выпить — выпил, а закусить нечем! — сказал он и вдруг с криком метнулся в сторону. Сверху свалился большой кусок угля и задел его за ногу.

— О, чтоб тебя! — ворчал откатчик, потирая ушибленную ногу.

— Коржик упал! — засмеялись вокруг него. — Вот тебе и закуска!..

— Подавитесь вы сами... — начал было откатчик и не договорил, потому что над их головами послышался сухой треск, как-будто там ломались льдины, и вслед

затем на землю посыпались мелкие куски угля. Рабочие подались назад.

— Неладно дело, ребята! — сказал один из них. — Эй, вы, кто там есть, выходи скорей! — крикнул он в глубину забоя, где еще мерцали желтые огоньки коптюлек и слышались удары обушков.

— Дяденька Иван! Идите скорей, кличут! Уголь сыплется!.. — закричал Косряшка, бросая свою тачку.

Иван Саламаткин, недовольно ворча, стал собирать инструмент. Уголь все еще сыпался.

Рабочие ринулись к выходу, давя и толкая друг друга, и не успели они выбежать на площадку, как глухой гул, словно отдаленный раскат грома, промчался по сводам, и громадная глыба угля рухнула вниз. Вода, освободившись из долгого плена, с тихим свистом хлынула из промоины и разлилась по земле. Шахтеры, сбившись в кучу, как испуганное стадо, молча смотрели на это разрушение.

— Да, кажись, все... насилу выскочили... Еще бы чуть-чуть — поминай, как звали... — слышались дрожащие от ужаса голоса.

— Косряшки нету... — робко заявил кто-то.

Смушенные шахтеры переглянулись и стали считать друг друга. Не хватало еще Ивана Саламаткина...

— Стало-быть... и его тоже? — произнес один из рабочих. — Стало-быть... Ну, царство им небесное!.. — шопотом dokonчил он и снял шапку.

Словно ветер пронесся над толпой испуганных людей, и все разом сняли шапки.

III.

Раскопки на месте обвала продолжались всю ночь, и обе смены дружно работали под наблюдением и руководством штейгеров. Никто не шутил, никто не смеялся, и только изредка слышались отрывистые приказания штейгеров, да обушки стучали, точно гробовые молотки.

Косряшку нашли почти у самого выхода. Он лежал ничком, закрыв лицо обеими руками, и в его открытых глазах сохранилось выражение ужаса. Иван Саламаткин оказался в самой глубине забоя.

Уже рассвело, когда погибших подняли наверх. У ворот сарая стояла толпа и в угрюмом молчании ждала. Смушенный надсмотрщик суетливо бегал взад и вперед и тщетно уговаривал народ разойтись,—никто его не слушал и никто не трогался с места. Слух о несчастии уже долетел до города, и все новые и новые партии любопытных прибывали оттуда. Пришли и мещане из слободки и железнодорожные рабочие, и бабы—сортировщицы угля, и обеспокоенный этим нашествием надсмотрщик в немом отчаянии смотрел на волнующееся перед сараем море человеческих голов.

Загудели канаты, и резкий звонок пронизал тишину. По помосту застучали тяжелые шаги,—толпа дрогнула и придвинулась ближе к воротам..

— Клади здесь!..— отрывисто командовал кто-то.— Вот сюда...

Покойников положили в углу на помосте и прикрыли рядом. И вдруг откуда-то выскочила странная, скрюченная фигурка, прошмыгнула к телам и, присев возле них на корточки, жалобно завывала. Толпа заволновалась.

— Это кто? Это что? Уберите его отсюда!—закричал надсмотрщик, бегая по помосту и беспомощно размахивая руками.

Но никто не двинулся исполнить его приказание, и странная фигурка продолжала выть протяжно и дико. Это был Ермолка, который оплакивал своего единственного и, может быть, последнего друга на земле.

Взошло солнце и золотым дождем обрызгало просыпающуюся степь. Высоко в небе снова тянули журавли, деловито перекликаясь: „Куды? Куды? Нет, не туды“... но ни Иван Саламаткин, ни Косряшка не слышали их зова. Крепко спали они вечным сном... И Ермолка выл жалобно и протяжно.

Пауль Цех.

ЮППХЕН-ЛОШАДНИК.

I.

В вербное воскресенье Юппхену исполнилось 15 лет, в этот же день в рудничном поселке происходила годичная ярмарка. После полудня Юппхен отправился с отцом и матерью в поле сажать бобы. Солнце пекло точно в августе. С земли поднималась белая пыль. А деревья вдоль дороги раскачивались во все стороны в первой радости почкования.

С деревенской площади, где находились несколько каруселей, воздушные качели и разные балаганы, доносился беспорядочный гул — дребезжали шарманки, гремели трубы и барабаны.

Юппхен восторженно и что-то шепнул матери на ухо.

— Чего ему? — проворчал отец.

— Юппхену хочется пойти на ярмарку.

— Очень нужно! Завтра ему придется встать в пять часов. Теперь ведь конец лодырничанию.

Юппхен с'ежился, словно от удара. Он хотел что-то возразить, но язык не ворочался и затыкал ему рот, словно сухой тряпкой.

А как ему хотелось покататься на хорошеньких деревянных лошадках! Лошадей он любил больше всего. Каждый день по выходе из школы он встречал конюха директора, который об'езжал по деревне вороного блестяще вычищенного коня.

Юппхен всегда останавливался на минуту и глядел вслед всаднику сверкавшими влажным блеском глазами.

Однажды, когда конюх зашел в корчму, Юппхену пришлось стеречь коня, пока запыленный всадник утолял жажду.

Мальчик получил за это несколько пфеннигов. После этого он сказал матери, что и сам хотел бы стать кучером.

Но мать ответила, что отец никогда на это не согласится. Юппхен должен стать рудокопом, таким же, как его отец и дедушка и все другие в их родне.

Юппхен попробовал выискать в своем маленьком мозгу разные возражения. Ему действительно удалось найти довод в пользу своего желания, и он повторял его матери изо дня в день до тех пор, пока ей не надоели его приставания и она не поколотила его. Юппхен был болезненно удивлен и с тех пор перестал делиться с матерью своими планами.

Но зато в тихие дообеденные часы, когда мать возилась в садике, он заходил в каморку к бабушке и развешивал перед ее изумленными очами все свои мечты—до единой. А уродливая старушка всегда находила для него кроткие слова утешения, и оба уносились в мир фантазии.

Когда сумеречные тени надвинулись на поле, все вместе отправились домой. На повороте улицы Юппхен еще раз обернулся и втянул в себя смутные звуки, доносившиеся с ярмарки, словно чудный аромат.

Тотчас же после ужина легли спать. Панталоны и верхнее платье полетели через спинки стульев. Мать вынула из комода новый синий полотняный костюм для Юппхена и положила его на табуретку перед кроватью.

— А теперь марш в кровать и завтра встать спозаранку! — скомандовал отец.

Скоро в доме воцарилась мертвая тишина. Из спальни и с чердачной каморки, где спала бабушка, раздавался тяжелый храп.

На дворе же, в саду, царили серовато-зеленые сумерки, пока не скрылся месяц.

Юппхен пролежал без сна полночи. Он нарисовал себе в воображении лошадок всевозможных мастей и, выбрав из их числа одну маленькую стройную серебристо-белую лошадку, проворно пустился на ней в путь, через горы и долины, в далекие чуждые края. Он чувствовал, как растет и становится одним из тех блестящих рыцарей, о которых рассказывалось в книжке со сказками. Но когда часы забили, и он сосчитал три твердых удара, то они прозвучали для него неумолимым приказом: вернуться домой и делать то, что прикажет отец.

Он решил ни о чем не думать больше и пролежать до тех пор, пока мать не встанет и не разведет в кухне огня.

Но его веки отяжелели, а на белой стене комнаты двигалась, словно играя пальцами, красная тень. Юппхен поспешно натянул на голову одеяло.

Стук тяжелых деревянных туфель матери, то доносившийся со двора, то раздававшийся в комнате, заставил его испуганно вскочить с постели. Он быстро надел парусиновые штаны и с растопыренными ногами пошел к крану водопровода. Обстоятельно, как делал отец, помыл себе грудь, спину и шею, и в выжидательной позе сел за стол.

Вслед затем из спальни вышел и отец. У него был совсем заспанный вид, и он, зевая, остановился перед очагом.

Мать поставила на стол кофейник и нарезала ломтями хлеб, который отец и Юппхен должны были взять с собой в шахту.

Юппхен наскоро выпил свой кофе и закончил туалет. Холодная дрожь ожидания пробежала по его худенькому лицу и заставила посинеть его губы.

Отец взял его за руку и потащил за собою в холодное утро.

II.

По мертвой глинистой дороге уже двигалась длинная черная процессия подневольных людей, направлявшихся к руднику. Казалось, что они проходят по площади, на которой пускают фейерверк. Маленькие домики, расположенные вдоль улицы, отбрасывали большие темно-синие четырехугольники на маслянистую дорогу. Шум под'емных машин носился, как грозовая туча, над выющимися сетями дыма. В воздухе кружились вихрем рои копоты. Звуки человеческих голосов, разрываемые в оргии бушующей материи, слышались только с перерывами, как преувеличенные отголоски какого-то эхо. Они напоминали спутанное глухое мелодическое жужжание насекомых, казались возгласами какой-то игры, утратившей смысл.

При свете электрических фонарей, едва доходивших до коньков крыш, все люди казались согнувшимися дряхлыми стариками. Ничто, казалось, не занимало их, они подвигались вперед, словно во сне; земля вздрагивала под отбрасываемыми ими тенями, словно с трудом лишь могла носить на себе их угловатые износившиеся от работы черепа. В мозгах бодрствовали только некоторые клеточки, а все, что обволакивало их, было пьяным механизмом, управлявшимся одной волной — одной магнетической струей, исходящей от необыкновенно правильно функционирующей центральной станции.

А ворота, ведущие к этой станции, жадно разевали свою пасть и без труда проглатывали тех, которые были людьми.

Длинные руки заработали, словно весла, лица забелели на черном фоне, костлявые руки протянулись с нумерками. Замелькали в воздухе лампы, сигнальные звонки покрывали голос штейгера, равнодушно выкликавшего отдельные имена. А те отзывались на вызовы полувнятным бормотанием.

Время от времени кто-нибудь, вместо ответа, стремительно поднимал руку, словно школьник, желающий

блеснуть своими знаниями. Но у того, кто поднимал руку, была холодная кровь. Ибо, будь эта рука направлена человеком с волей, она нанесла бы удар чем-нибудь острым и блестящим. И согрелась бы в красной крови.

Люди же отправлялись в раздевальную. Это была большая выбеленная зала в уровень с землей. Длинные каменные корыта с проточной водой стояли вдоль стен. С потолка свешивалась болтающимися зигзагами почерневшая синева рабочих костюмов.

Здесь переодевались. В воздухе стоял запах пота и заношенного белья. Голые торсы сверкали, как бронза.

Широкие, как звериные лапы, руки хлопали шутиливо по мускулистым плечам. Узловатые, вздутые вены выступали на мясистых мускулах рук и на голених. Пол глубоко запрятался. Только привычный машинный обмен сальными словечками производил ложное впечатление игривости.

Колокол вновь задребезжал. Послышались звуки, напоминавшие бление скопившихся в тесном сарае овец. В этой атмосфере утрачивалась всякая звучность.

Юппхен стоял с покрасневшими щеками и громко бьющимся сердцем. Что-то, давно молчавшее, радостно затрепетало в нем.

Отец же внезапно проговорил отрывисто-грубо:

— Марш, вперед!

И, передав мальчика письмоводителю, удалился с равнодушным видом: — В добрый час!

Вместе с пятью другими подростками, уже давно работавшими на шахте, Юппхена толкнули в под'емную клеть. И затем начался спуск на триста метров в глубину.

Юппхен почувствовал, как все в его внутренностях завертелось волчком и поднялось вверх. Рот наполнился кислой слюной, из носу пошла кровь.

Сильный толчек — и под'емный ящик остановился. Парни вытащили Юппхена и через поперечную шахту втолкнули в отделение для лошадей.

Теплый запах конюшни шел из низкого зала. Около пятидесяти лошадей стояли бок о бок перед длинными цементными яслями. С черного мерцающего потолка свешивались длинные ряды лампочек, и белая пена лучей брызгала в самые отдаленные уголки.

Инвалид-рабочий заведывал конюшней. Юппхен подал ему записку, полученную от писаря, и заведующий указал ему его место. Другому мальчику, постарше, поручено было познакомить его с употреблением скребницы и щетки и с задаванием корма лошадям.

Юппхен внимательно следил за его указаниями и очень быстро усвоил все приемы. Он чувствовал, что одержал верх над волей отца, и в душе торжествовал.

Когда, по окончании смены, он снова поднялся наверх, отец уже стоял в бараке готовым к выходу. Он соорудил злое лицо и даже не спросил у мальчика, как у него сошел его первый трудовой день. Без слов оба направились домой.

В суровом резком воздухе вечера Юппхен почувствовал во всех членах тяжелую усталость. Колени у него подкашивались. Но он храбро держался до самого дома.

— На, получай обратно своего лошадника, мать. Слишком он слаб, чтобы получать сдельную работу. На целый талер меньше будет зарабатывать. Этого едва хватит, чтобы прокормить его.

Мать ничего не ответила на необыкновенно жестокие слова отца, который опустился на стул с мрачным видом. Она погладила своего мальчика по влажным волосам и худым веснушчатым щекам.

Ликующий Юппхен хотел-было поделиться с матерью своей радостью по поводу того, что он совершенно неожиданно был приставлен к лошадям. Но в присутствии отца у него не хватило на это духу. В голове его беспорядочно проносились новые впечатления. Несколько минут он колебался—рассказывать или нет. Но затем лихорадка его улеглась.

Мало-по-малу он перестал чувствовать по возвращении из шахты первоначальную усталость. Он уже совершенно освоился с тамошними порядками, а с ше-

стью лошадьми, которые у него были на попечении, сошелся наилучшим образом. Кривая Буланка даже сделалась его любимицей. Эта любовь мало-по-малу зашла так далеко, что он стал урезывать порции овса у других лошадей и добытый таким образом излишек отдавал своей любимице.

Последняя скоро заметила отдаваемое ей предпочтение, и между нею и мальчиком завязалась тесная дружба. Каждый вечер, когда Юппхен уходил из конюшни, Буланка поворачивалась ему вслед, мотала головой и испускала звонкое ржание. И как только на следующее утро подъемная клеть садилась на землю, Юппхен сквозь оглушительный шум уже различал приветственное ржание.

Каждый раз, готовя Буланку к ее выезду с тележками, он рассказывал ей про все свои планы на ее счет. Он будет копить деньги—с каждой получки он отложит по марке. А когда, таким образом, накопится кругленькая сумма, он выкупит Буланку у директора и оставит с ней шахту навсегда. Наверху, на воле, может быть удастся приобрести дешево телегу и заняться перевозкой грузов для железной дороги. Жизнь на солнце Буланке наверно понравится гораздо лучше теперешней. Там, наверху, есть свежий клевер и высокая мягкая трава. Буланка получит также новенькую кожаную сбрую с бубенчиками на хомуте. Да еще он купит белый гнутый бич с золотой руксяткой. Не для того, чтобы бить Буланку. О, нет!... Это делают лишь грубые ломовые извозчики, оставляющие своих лошадей мокнуть под дождем, тогда как сами они сидят в кабаке и часами играют в карты.

Иногда Юппхен вплетал Буланке в гриву пеструю шерстяную ленту, которую ему удавалось стибрить у матери. А возчика просил не обращаться так грубо с лошастью.

Но тот высмеивал его и всякий раз срывал пеструю ленту с гривы.

В один прекрасный день Юппхен сказал Буланке:

— Знаешь, я уже скопил двадцать гульденов. Скоро у меня наберется достаточно денег, чтобы вы-

купить тебя. Но отцу я скажу это не раньше, чем сумма будет собрана сполна. Тогда я вычищу кроличий сарай и построю тебе ясли. Ты одна будешь есть из них. Это будет гораздо приятнее, чем есть со всеми. И в телегу я также буду запрягать тебя одну. И никто другой, кроме меня, не будет править тобой...

Буланка опустила голову и своими широкими ноздрями обнюхивала лицо мальчика. В это время в сарай вошел инспектор вместе с надзирателем конюшни и стал осматривать Буланку. Юппхен чуть не плакал — так грубо тот трепал ее по спине и суставам.

После непродолжительного осмотра инспектор сказал: — „Ну, этой старой кляче можно также дать отставку. Вместе с хромой рыжей из переднего барака. Запрягать их больше не следует. В десять часов прибудет новый транспорт“.

Надзиратель кивнул головой и вышел проводить инспектора.

Юппхен, наполовину только понявший в чем дело, стоял с разинутым ртом и поглядывал то на Буланку, то на других лошадей.

— Так,—сказал надзиратель, вернувшись в сарай,—теперь мы, Юппхен, избавимся наконец от этого одра. Мы получим взамен совсем молодую лошадку. Хорошо, правда?

Юппхен весь с'ежился. Колени его дрожали. Глаза выкатились, словно их насадили на стальные булавки. Рыдания подступили к горлу и душили его. И вдруг он почувствовал, что должен опереться протянутыми вперед руками о что-нибудь твердое. В висках у него стучало, как молотком. Губы широко раскрылись. Громкий вопль рассек воздух.

— Я не отдам ее!... Я сам куплю ее... У меня есть деньги. Сколько хочешь за Буланку? Завтра я принесу тебе. Целый кошелечек с деньгами у меня. Я ни за что не дам увести Буланку!

— Ах, какой же ты глупый мальчишка! Совсем ребенок! Видано-ли чтонибудь подобное?

Юппхен плакал беззвучно, совершенно сокрушенный. Но тут надзиратель дернул его за плечо: — „Марш, отвяжи ее, да хорошенько надень ей недоуздок. Сейчас опустится под'емная клеть“.

Юппхен подошел к Буланке, нежно погладил ее шкуру и медленно отвязал повод.

Буланка нагнула вниз голову. Своим открытым дальнзорким глазом она пристально глядела на мальчика, словно понимая, что прощается с ним навсегда.

Юппхен чувствовал, как кровавая роса заливает его сердце. Он провел рукой по лбу и бессильно опустил руки. Вдруг он побежал за перегородку, достал всю свою порцию хлеба и, кусок за куском, скормил его лошади.

Еще не успела Буланка проглотить последний ломтик, как надзиратель окликнул мальчика.

Юппхен поспешно набросил на Буланку недоуздок и вывел ее из конюшни. Он шел словно на похороны.

Надзиратель вырвал у него из рук поводья, толкнул Буланку в бок и загнал ее в под'емную клеть. Рыжая лошадь уже была крепко привязана к перекладине, решетки и стояла спокойно, с опущенной головой. Буланке пришлось стать впереди. Канат натянулся, и под'емник со свистом взвился вверх.

Юппхен стоял как раз под люком шахты. Он щелкнул языком и вслед затем услышал в дымящемся мраке подавленное ржание. И совершенно явственно он еще увидал, как Буланка просунула из-за решетки голову книзу.

Юппхен хотел-было поднять руку с прощальным жестом, но в эту минуту что-то бесконечно тяжелое слетело сверху и попало ему прямо в поднятое лицо. Словно мокрый мешок, он шлепнулся на землю плашмя и уже не поднимался.

Острый край дверной коробки у поперечной штольни при бешеной быстроте под'ема разом отделил высунутую голову лошади от шеи.

Рудниковый врач, выписывая свидетельство о смерти Юппхена, сухо добавил: „убит упавшей в шахту лошадиной головой“.

Джиованни Верга.

КЛЕЙМЕННЫЙ РЫЖИЙ.

Его прозвали Клейменным за то, что он был рыжим, а рыжим он был, дескать, потому, что из хитрого и злобного мальчишки обещал превратиться в большого негодяя. В копи, где добывался красный песок, все его называли Клейменным, и даже родная мать так привыкла к этому прозвищу, что, кажется, забыла его настоящее имя.

Впрочем, она его и видела только по субботам, когда он вечером приходил домой с несколькими грошами, заработанными за неделю. Но так как он был „клеяменный“, то приходилось опасаться, не утаивает ли он часть денег, и, в виду сомнения, старшая сестра на всякий случай угощала его колотушками по голове.

Однако хозяин подтвердил, что Клейменный получает ровно столько, сколько он приносит домой, но что, по правде сказать, он и того не заслуживает, потому что этого мальчишку никто подпускать к себе не хочет, все бегает от него, как от паршивой собаки, и колотят его ногами, если он подвернется.

Действительно, это был некрасивый, угрюмый, ворчливый и дикий мальчик. В полдень, когда все другие рабочие, сидя в кружок, ели похлебку, а потом немного отдыхали, он забивался в угол, ставил между ногами корзинку и глодал свой черствый хлеб, как какое-нибудь животное. Каждый по-своему насмехался над ним или бросал в него камнями, пока смотритель пинком не отсылал его опять на работу. Он был равнодушен

к побоям и безропотно таскал большие тяжести. Клейменный всегда ходил в лохмотьях, вымазанных красным песком, так как его сестра собиралась замуж, а матери было не до него. Однако в Монсеррато и в Карване все его знали, как знают крапиву, так что даже шахту, где он работал, называли „шахтой Клейменного“, и хозяину это было очень неприятно. Вообще его держали только из милости и из-за того, что мастер Мишу, его отец, умер в шахте.

Он погиб в то время, как спешил окончить к воскресенью сдельную работу: срыть столб песку, который когда-то был оставлен в шахте вместо подпорки и в котором теперь не было надобности. Хозяин наглаз определил, что плата за столб будет, как за 35—40 тачек песку. Между тем мастер Мишу рыл уже три дня, а еще на понедельник оставалось, по крайней мере, на полдня работы. Сделка была неважная, и хозяин мог провести только такого дурака, как мастер Мишу, которого прозвали Скотиной и которым все помыкали. А он, бедняга, на все молчал, не лез в драку и не затевал ссор. У Клейменного было такое выражение лица, как будто все эти неприятности относились к нему самому; и как он ни был мал, а бросал такие взгляды, что окружающие говорили: „Ты, брат, далеко пойдешь и не умрешь в постели, как твой отец!“

Но и его отец не умер в своей постели, несмотря на то, что он был покорной скотиной. Хромой дядя Момму говорил, что ни за какие деньги не взялся бы срывать этот столб, потому что он ненадежен; но, ведь, с другой стороны, в рудниках все опасно, и, если бояться каждой малости, то лучше пойти в адвокаты.

Итак, в субботу вечером мастер Мишу еще работал над своим столбом после того, как прозвонили к вечерне, и все его товарищи, закулив трубки, разошлись по домам, советуя ему сидеть сложа руки, чтобы угодить хозяину, и предостерегая, чтобы он не умер „мышинной смертью“. Он привык к насмешкам и не обращал на них внимания; в ответ слышались только сильные удары его лома: „a! a!“, при чем он приго-

варивал: „Это—на хлеб! это—на вино! это — на юбку Нунциате!“ и высчитывал, как он распорядится деньгами, которые получит за свой „подряд“.

Небо над шахтой сияло звездами, а там внизу фонарь коптел и мерцал. Толстый красный столб, пробитый в середине ударами лома, корчился и сгибался в три погибели, как человек с больным животом. Клейменный убирал с полу песок и отставил в сторону кирку, пустой мешок и бутылку вина. Отец, любивший его, то и дело говорил: „отойди подальше!“ или: „будь осторожнее, если сверху посыплются камешки и крупные глыбы песку!“. Но вдруг он замолчал, и Клейменный, который отвернулся, чтобы положить в корзинку инструменты, услышал глухой, подавленный шум, какой бывает при обвалах песку. Свет сразу погас.

Вечером впопыхах побежали за инженером, который заведывал работами в шахте, а он был в театре. У дверей театра инженера окружили все женщины из Монсеррато: они голосили и били себя в грудь, рассказывая о несчастье, постигшем Санту, и только она, бедная, молчала, а зубы у нее стучали, как в крещенский мороз. Когда инженеру сообщили, что несчастье произошло четыре часа тому назад, то он спросил, зачем же за ним пришли так поздно. Тем не менее он поехал на шахту, захватив лестницы и факелы, но пока прошло еще два часа, т.-е. всего шесть. Сделать ничего не сделали: Хромой сказал, что нужна, по крайней мере, неделя, чтобы очистить шахту от обвала.

Вот-те и сорок тачек песку! Мелкого песку, пережатого лавой, свалилась целая гора. Было чем наполнить тачки на много недель. Вот как повезло мастеру Скотине!

Инженер возвратился в театр к следующему действию. Рудокопы, пожав плечами, один за другим разошлись по домам. Среди общего шума и давки никто не обратил внимания на ребенка, который кричал не своим голосом: „Ройте! Ройте здесь! Скорее“. — „Гляди-ка, — сказал Хромой, — да ведь это Клейменный!“ — „Как же Клейменный выбрался оттуда?“ —

„Не будь ты Клейменным, не спастись бы тебе, нет!“ Одни смеялись, другие говорили, что в Клейменном сам чорт сидит, а кто-то заметил, что он живуч, как кошка. Клейменный не отвечал, не плакал, но руками разгребал песок в яме, и никто не заметил, что он там остался; когда же подошли с огнем, то всем бросилось в глаза его искаженное лицо со стеклянными глазами и с пеной у рта; на его окровавленных руках болтались вырванные ногти. Его хотели увести, но это нелегко было сделать: он больше не мог царапаться, зато кусался, как бешеная собака, и пришлось схватить его за волосы, чтобы насильно оттащить.

Однако, через несколько дней он возвратился в шахту: мать, всхлипывая, привела его за руку; ведь заработок на улице не валяется! Он даже не хотел уйти из „той“ галлерей и работал с ожесточением, снимая каждую корзину песку с груди отца. По временам он останавливался с угрюмым лицом и вытаращенными глазами и опускал лом. Казалось, что он прислушивается к каким-то речам, из-за груды обвалившегося песку. В такие дни он бывал грустнее и хуже обыкновенного, не ел почти ничего и бросал свой хлеб собаке. Собака любила его, потому что собаки смотрят только на руку, дающую им хлеб. Зато весь запас злобы Клейменный изливал на жалкого, худого и кривоногого серого осла; он безжалостно колотил его рукояткой лома и приговаривал: „Так ты скорее издохнешь!“.

Казалось, что после смерти отца у него силы удесятерились: он работал, как вол. Он старался вести себя как можно хуже на том основании, что он „клейменный“; и если случалось какое-нибудь несчастье — пропадут ли инструменты у рудокопа, сломает ли осел ногу, обвалится ли часть галлерей, — виновным всегда считался он. И он безропотно принимал колотушки, как те ослы, которые гнут спину, но продолжают делать по-своему. С другими мальчиками он обращался крайне жестоко и, казалось, хотел выместить на беззащитных существах все то зло, которое, по его мнению, причинили ему и его отцу. А когда он оставался один, то бормотал:

„Со мной тоже так поступают! А моего отца называли Скотиной, потому что он так не делал!“. Однажды, когда хозяин проходил мимо, Клейменный бросил на него злобный взгляд и сказал: „Это он погубил его!“. А в другой раз за спиной Хромого он проворчал: „И этот тоже! Он смеялся в тот вечер, я сам слышал“.

Он взял под свое покровительство одного мальчика, который с некоторых пор работал в шахте. Мальчик был раньше каменщиком, но, упав с постройки, вывихнул бедро и поэтому не мог заниматься прежним ремеслом. Когда он нес на спине свою корзину песку, то так приседал, как будто плясал тарантеллу, и этим возбуждал смех у рудокопов, которые прозвали его Лягушкой. Но, работая под землею, этот калека все-таки зарабатывал хлеб, да и Клейменный уделял ему часть своей порции для того, как говорили иные, чтобы сильнее мучить его.

Действительно, он его мучил на тысячу ладов. Он его бил беспощадно и без всякой причины, а если Лягушка не защищался, то колотил его еще сильнее, с каким-то остервенением и приговаривал: „Вот тебе! Скотина, настоящая скотина! Если у тебя не хватает духу защищаться от меня,—я тебе, ведь, зла не желаю—то, значит, всякий может тебе наплевать в рожу!“.

Работая ломом или киркой, Клейменный так ожесточенно размахивал руками, как будто песок был его злейшим врагом; он разбивал его, стиснув зубы, такими же ударами: „а! а!“, как покойный отец. „Песок обманывает,—говорил он вполголоса Лягушке.—Он так же поступает, как другие: если ты слабее, тебе плюют в лицо, а если—сильнее или если ты не один, то тебе поддаются, как например, Хромой. Мой отец всегда разбивал песок, но никого не бил; за это его прозвали Скотиной, а песок поглотил его, потому что был сильнее его“.

Каждый раз, когда Лягушке доставалась слишком тяжелая работа, и он плакал, как баба, Клейменный бил его по спине и приговаривал: „Молчи, цыпленок!“.

Если же Лягушка не унимался, то он помогал ему в работе, заявляя с некоторой гордостью: „Пусти-ка, я сильнее тебя!“. Кроме того, он отдавал ему свою половинку луковицы, а сам по-прежнему ел сухой хлеб и говорил, пожимая плечами: „Я к этому привык“.

Он ко всему привык: к побоям, к толчкам, к пинкам, к ударам лопатой или бичем; привык, чтобы все его ругали и издевались над ним; привык спать на камнях, хотя руки и спину ему ломило после четырнадцатичасовой работы; привык даже поститься, потому что хозяин, в наказание, часто лишал его хлеба или похлебки. Клейменный говорил, что хозяин никогда не лишает его порции побоев, потому что побои ничего не стоят. Он, однако, не жаловался, но мстил исподтишка, коварно выкидывая какую-нибудь дьявольскую шутку; поэтому ему доставалось даже тогда, когда он не был виноват: если он и не провинился, то мог бы провиниться. Он никогда не оправдывался; впрочем, это ни к чему не повело бы. Иногда испуганный Лягушка со слезами умолял его выяснить дело и оправдаться, но он говорил: „Зачем? Ведь я Клейменный!“. Глядя на него, никто не мог бы сказать, от чего согнулись эти плечи и поникла эта голова: от злобы или от покорности; никто также не знал, дичился ли он или стеснялся. Достоверно было только то, что он даже к родной матери никогда не приласкался, и она никогда не ласкала его.

В субботу вечером он возвращался домой весь в лохмотьях, а его лицо, покрытое веснушками, всегда бывало вымазано красным песком. Если он останавливался на пороге, то сестра немедленно вооружалась метлой, опасаясь, чтобы ее жених не сбежал при виде будущего шурина. Мать в это время всегда бывала в гостях у какой-нибудь соседки, поэтому он, словно больная собака, забивался в угол, на свой соломенный тюфяк. В воскресенье, когда все соседские мальчишки надевали чистые рубашки и играли во дворе, он только и знал, что прокрадываться за огородами, гоняя и убивая безобидных ящериц, или портить фиговые деревья.

К тому же насмешки и колотушки других мальчишек тоже не приходились ему по нраву.

Вдова Мишу была в отчаянии, что ее сын — негодяй, как ей все говорили. И Клейменный дошел до состояния тех собак, которые до того привыкли получать со всех сторон удары и пинки, что ходят всегда поджавши хвост, бегают от каждого встречного, дичают и, подобно волкам, становятся голодными и щетинистыми. Под землю, в шахте не насмехались по крайней мере над его уродством и засаленными лохмотьями. Казалось, что он создан для этого ремесла, к которому приспособлен даже цвет его волос и его кошачьи глаза, моргающие от солнца. Есть ослы, которые в течение многих лет работают в подземельи и никогда оттуда не выходят. Их спускают на веревках через отвесную шахту, и они там остаются до самой смерти. Клейменный, в сущности, немногим отличался от них, и по субботам выходил из копи только потому, что мог на руках подниматься по веревке, и потому, что ему нужно было отнести матери свой недельный заработок.

Конечно, он предпочел бы работать у каменщика, как прежде работал Лягушка, и под лазурным небом, на постройке, распевать песни и греть спину на солнышке; или — быть извозчиком, как кум Гаспар, который приезжал за песком с трубкой в зубах и, качаясь на козлах, дремал, раз'езжая целый день по прекрасным деревенским дорогам; но больше всего он желал бы быть крестьянином, который проводит всю свою жизнь в поле, среди зелени, в чаще деревьев, и над головой его поют птицы, а вдали виднеется синее море. Однако, отец его был рудокопом, и он стал тоже рудокопом. Размышляя обо всем этом, он показывал Лягушке столб, обрушившийся на его отца; от этого столба еще оставался мелкий пережженный песок, за которым приезжал извозчик с трубкой в зубах, дремля и покачиваясь на козлах. Извозчик говорил, что когда они все отроют, то найдут труп отца, на котором должны быть совсем новые бумазейные шаровары.

Однажды, наполняя песком корзины, нашли башмак мастера Мишу; тогда на Клейменного напала такая дрожь, что пришлось его вытащить на веревках, как вытаскивали брыкающихся ослов. Однако, не могли найти ни новых шаровар, ни каких-либо других следов мастера Мишу, хотя опытные люди говорили, что именно в этом месте столб обрушился на него.

С тех пор, как нашли башмак, Клейменный стал так бояться, чтобы в песке не показалась босая нога отца, что не хотел больше работать ломом, и за это его били ломом по голове. Он перешел в другую часть галлерей, но не согласился возвратиться на прежнее место. Через два—три дня нашли шаровары и труп Мишу, который лежал ничком и так хорошо сохранился, как будто был набальзамирован. Дядя Момму говорил, что он, повидимому, умер не сразу, так как столб лег на него дугою и заживо погреб его; видно было даже, что он старался выбраться, раскапывая песок: руки у него были разодраны и ногти сломаны. „Точно так же, как было у Клейменного! — твердил Хромой:— он рыл с этой стороны, а сын в то же время с другой“.

Извозчик забрал труп из подземелья, как забирал песок и дохлых ослов. Вдова перешла на Клейменного рубашку и шаровары, так что он в первый раз в жизни получил почти новое платье, а башмаки спрятали до тех пор, пока он подрастет, потому что их нельзя было переделывать, а жених сестры не захотел башмаков с покойника.

Клейменный разглаживал свои бумазейные шаровары, которые казались ему мягкими и гладкими, как руки отца, всегда ласкавшие его жесткие рыжие волосы. Он повесил башмаки на гвоздь над своим матрацом и по воскресеньям снимал их, чистил и примерял; потом он их ставил рядышком на пол и долго, по целым часам, смотрел на них, уткнувшись локтями в колени и подперев лицо руками. Кто знает, какие мысли роились тогда в его мозгу!

А странные мысли бывали у Клейменного! В наследство от отца ему достались также кирка и лом, которыми он стал работать, хотя для его лет они были слишком тяжелы. Ему предлагали продать их и давали цену, как за новые, но он отказывался на том основании, что отец постоянно ими работал, и от этого ручки сделались гладкими и блестящими, а он сам не смог бы так отполировать новых инструментов, хотя бы работал целый век.

Тем временем серый осел околел от старости и непосильных трудов; извозчик вывез его далеко на пустырь. „Так всегда бывает,—ворчал Клейменный,—негодные инструменты надо выбрасывать“. Он ходил навещать остов Серка на дне оврага и насильно водил с собой Лягушку, которому не хотелось идти. Клейменный говорил ему, что на этом свете надо приучаться смотреть и на прекрасные и на безобразные вещи, а сам с жадным любопытством следил за собаками, которые сбегались со всех постоянных дворов и грызлись за падаль Серка. При приближении мальчиков собаки с визгом расступались и выли над обрывом, но Клейменный не позволял Лягушке отгонять их камнями: „Посмотри-ка на эту черную собаку,—говорил он,—она твоих камней не боится, потому что она голоднее всех. Гляди, у нее можно ребра пересчитать!“. Серый осел теперь не страдал и спокойно лежал с растопыренными ногами, а собаки выедали ему глаза и обглаживали мясо с белых костей. Его спина не могла согнуться даже от того, что собаки разрывали ему внутренности, а прежде достаточно было простого удара лопатой, которым его подбодряли, когда он поднимался по крутой тропинке. Прежде Серка били, и вьюк натирал ему раны на спине; если же он бывал нагружен через силу и, задыхаясь, не мог идти дальше, а его все-таки хлестали, то он бросал такие взгляды, как будто хотел сказать: „Не надо больше! Не надо!“. А теперь собаки выедают ему глаза, и он оскаленными зубами на обнаженных челюстях смеется над ударами и ранами. И лучше было бы ему вовсе не родиться.

Мрачный и однообразный черный пустырь тянулся насколько глазу было видно; на нем чередовались холмы и овраги, но хоть бы где-нибудь кузнечик застрекотал или птичка чирикнула. На всем его протяжении ничего не было слышно, и даже стук ломов, работавших под землею, не доносился наверх. Каждый раз Клейменный повторял, что под ними, в земле, пробиты ходы по всем направлениям: и к горе, и к долине; что раз один рудокоп вошел в шахту черноволосым, а вышел — седым; что у другого рудокопа потух фонарь, и он тщетно звал на помощь: никто не мог его услышать. „Только сам он слышал свои крики“, — прибавлял Клейменный и при этой мысли содрогался, хотя и говорил, что у него сердце было черствое, как камень.

„Хозяин часто посылает меня туда, куда другие боятся идти, но я ведь Клейменный, и если не возвращусь, то никто меня не станет искать.“

Однако, в чудные летние ночи звезды и над пустырем ярко сияли, а соседние места казались такими же черными, как и пустырь. Клейменный, утомившись после рабочего дня, растягивался на своей подстилке лицом кверху и наслаждался спокойствием, царящим в высоте. Лунных ночей он терпеть не мог, потому что тогда море сверкает и искрится, очертания местности смутно видны, и пустырь кажется еще более обнаженным и печальным. „Нашему брату, суждено жить под землею, — думал Клейменный, — и нам нужно, чтобы всегда и везде были потемки“. Если сова с пронзительным криком пролетала над пустырем, то он думал: „Сова чует, что здесь под землею есть мертвецы, и горюет о том, что не может до них добраться“.

Лягушка боялся сов и летучих мышей, но Рыжий внушал ему, что люди, которым приходится жить в одиночестве, не должны ничего бояться: даже Серко теперь не чувствует боли и не боится собак, обгладывающих его кости.

„Ты привык прежде лазить по крышам, как кошка, — говорил он ему, — но тогда было совсем другое

дело. А теперь ты должен жить в земле, как мышь, поэтому не нужно бояться ни простых мышей, ни летучих: ведь это те же мыши, только с крыльями“.

Лягушка зато с особенным удовольствием рассказывал ему, зачем на небе звезды; он объяснял, что там, наверху, находится рай, куда попадают те из умерших, которые были хорошими и не огорчали своих родителей. „Кто тебе сказал это?“—спрашивал Клейменный, а Лягушка отвечал, что ему сказала мама. Тогда Клейменный, почесывая затылок и улыбаясь, строил хитрую рожу, как мальчишка, которого не проведешь. „Твоя мать так говорит тебе потому, что тебе, по-настоящему, надо носить не штаны, а юбку“. А потом, подумав, прибавлял: „Мой отец был добрый и безответный, его за это даже прозвали Скотиной. А между тем он навсегда остался внизу; в земле нашли только его инструменты, башмаки, да вот эти штаны, что на мне“.

Лягушка с некоторых пор хирел и, наконец, так расхворался, что в один прекрасный вечер пришлось его увезти из шахты на осле; он лежал между корзинами и дрожал от лихорадки, как осиновый лист. Один из рабочих сказал, что Лягушка не может закалиться в их ремесле, а только те рудокопы, которые созданы для этой работы, не складывают костей в копиях. Клейменный при этом с гордостью подумал, что он, очевидно, рожден для ремесла рудокопа, так как вышел сильным и крепким, несмотря на нездоровый воздух и тяжелый труд. Он взваливал Лягушку на плечи и по-своему подбадривал его, т.е. ругал и бил. Но однажды, когда он ударил Лягушку по спине, у того хлынула кровь горлом. Испуганный Клейменный с тревогой осматривал ему рот и нос, недоумевая, что с ним случилось. Он клялся и божился, что своим ударом не мог причинить Лягушке такой беды, и в доказательство изо всех сил колотил себя в грудь и в спину большими камнями. Рабочий, присутствовавший при этом, тоже хватил его по спине, да так звонко, словно в барабан ударил.

Клейменный даже не сморгнул, и только, когда рабочий ушел, сказал: „Видишь? Со мной ничего не случилось. А он меня куда сильнее с'ездил, ей-ей!“.

Лягушка не поправлялся и продолжал харкать кровью; каждый день его лихорадило. Клейменный урывал гроши от своего заработка, чтобы покупать ему вино и теплую похлебку; он даже отдал Лягушке свои новые шаровары, чтобы ему было теплее. Но Лягушка задыхался от кашля, а по вечерам его так сильно знобило, что его укрывали мешками или соломой и клали около костра, да и то не помогало. Клейменный сидел молча и неподвижно, упираясь локтями в колени, и пристально смотрел на Лягушку своими вытаращенными глазами, как будто хотел списать с него портрет. Лягушка глухо стонал и лежал с измученным лицом и с таким же неподвижным, потухшим взором, какой бывал у Серка, когда он поднимался по тропинке, задыхаясь под тяжестью груза. При виде этого, Клейменный бормотал: „Хоть бы ты скорее издох! Чем так мучиться, лучше бы ты скорее издох!“. Хозяин говорил, что Рыжий способен разmozжить мальчику голову и что надо следить за ним.

Наконец, в один из понедельников Лягушка не явился на работу. Хозяину это даже было на руку, потому что Лягушка последнее время не столько работал, сколько мешал другим. Клейменный расспросил, где он живет, и в субботу вечером пошел навестить его. Бедный мальчик уж был одной ногой в могиле, а его мать плакала и убивалась так, как будто ее сын зарабатывал десять лир в неделю.

Этого Клейменный никак не мог понять и спрашивал Лягушку, отчего его мать так плачет, когда он за последние месяцы не зарабатывал даже себе на хлеб. Но бедный Лягушка не обращал на него внимания и смотрел вверх, как будто считал балки на потолке. Тогда Рыжему пришло в голову, что мать Лягушки так плачет оттого, что ее сын всегда был слабым и болезненным, а сам он был сильным и здоровым и был

„клеименным“, и его мать никогда над ним не плакала, потому что никогда не боялась потерять его.

Вскоре в копи разнеслась весть о смерти Лягушки. Клейменный думал, что сова, кричавшая по ночам, теперь чужая и его труп, и пошел проведать кости Серка в овраге, куда он обыкновенно ходил вместе с Лягушкой. От Серка остался только один скелет, и то же останется от Лягушки, а его мать утрет слезы и утешится, как мать Клейменного утешилась после смерти мастера Мишу; она даже вышла замуж во второй раз и поселилась в другой деревне. Сестра тоже вышла замуж, и домишко теперь заколочен. Отныне, если Клейменного будут бить, для них это безразлично, да и для него тоже; а когда он сделается таким, как Серко или как Лягушка, то ничего не будет чувствовать.

В это же время в копи появился новый рабочий, которого раньше никто не знал и который держался в стороне от всех. Рудокопы говорили между собою, что он убежал из тюрьмы, и что если его теперь схватят, то опять посадят на много-много лет. При этом случае Клейменный узнал, что тюрьмой называется то место, куда сажают воров и таких негодяев, как он, и где их держат взаперти и под надзором.

С той поры он стал относиться с болезненным любопытством к человеку, который побывал в тюрьме и убежал оттуда. Однако через несколько недель беглый коротко и ясно заявил, что ему надоела эта кротовая жизнь, и он предпочитает весь век пробывать на каторге, так как в сравнении с этим существованием тюрьма — рай, и он охотно сам туда вернется.

— Так почему же все рудокопы не устроят, чтобы их взяли в тюрьму? — спросил Клейменный.

— Потому что не все „клеименные“, как ты, — ответил Хромой. — Но не беспокойся, и ты туда попадешь, даже сложишь там голову.

Однако Клейменный погиб в руднике, как и его отец, хотя при других обстоятельствах. Однажды понадобилось исследовать ход, который, как думали, сообщался с главной шахтой слева, со стороны долины.

Если бы это предположение подтвердилось, то в будущем сберегалась бы половина работы при вывозе песку; но в противном случае грозила опасность заблудиться и больше никогда не возвратиться. Вследствие этого ни один отец семейства не хотел рискнуть жизнью и никого из своих близких не пустил бы ни за какие блага в мире.

Но у Клейменного не было никого, кто взял бы все блага мира за его шкуру, если бы даже она того стоила. Мать его вторично вышла замуж, и сестра также вышла замуж. Дверь дома была заперта; у него ничего не оставалось, кроме отцовских башмаков на гвозде. Поэтому ему всегда поручали самые опасные работы, самые рискованные исследования; если он сам не берегся, то другие и подавно за него не боялись. Когда его послали на этот осмотр, то он вспомнил о рудокопе, который много лет тому назад заблудился и звал на помощь, а никто его не слышал; он вспомнил, но ничего не сказал. Да и к чему бы это повело? Он взял отцовские инструменты, лом, кирку, фонарь, мешок с хлебом и бутылку вина и пошел. Только его и видели.

Таким образом затерялись даже кости Клейменного. Мальчишки в копи понижают голос, вспоминая о нем в разговоре, так как боятся, чтобы он со своей рыжей щетиной и серыми глазищами не появился перед ними.

А. Росси.

КАРУЗИ.

Во время своего пребывания в Кампобелло ди-Ликата я узнал, что в семи километрах от селения расположены весьма значительные серные копи, и решил посетить их.

На одном месте, переходя возвышенность, отделяющую Кампобелло от серных копей, мы увидели в стороне маленького, рахитичного полуголого мальчика лет девяти—десяти. Он бежал через поля, и его преследовал на расстоянии около двухсот метров человек без шапки, в белом от серы платье и без сапог, сброшенных для быстроты бега.

— Это пиконьер, — сказали нам крестьяне, — старающийся поймать сбежавшего карузо. Если он его поймает, то сживет его со свету за прогульные дни. Это вещи, происходящие ежедневно.

Да, эти вещи происходят каждый день, но это самое грубое варварство, которого нельзя терпеть в цивилизованных странах. Бегство мальчика напомнило мне сцену из „Хижины дяди Тома“.

Карузи — мальчики от восьми до пятнадцати или восемнадцати лет, которые должны выносить серу из глубоких галлерей и шахт на свет божий, при чем им приходится карабкаться и пробираться по крайне узким проходам.

Пиконьеры — люди, добывающие минерал своими мотыгами из галлерей; они берут в помощь к себе одного или нескольких мальчиков — „карузи“, по договору или

условию с их родителями за сумму, которая колеблется между 100—150 лирами, но уплачивается не наличными деньгами, а мукой или зерном. Купленный, подобно животному, карузо принадлежит пиконьеру, совсем как настоящий раб. Он не может освободиться, пока не вернет означенной суммы, а так как он зарабатывает лишь несколько центезимов в день, то его рабство продолжается многие, многие годы. С ним жестоко обращаются как отец, который не может его освободить, так и пиконьер, в интересах которого эксплуатировать его возможно продолжительное время. А если он пытается бежать, то происходит дикая жестокая охота, как это было в рассказанном нами случае.

— Если дело идет о таком бегстве, — сказал нам карузо, бывший в нашей компании, — то это еще ничего. Много хуже, когда пиконьер пускает в ход свою палку. На прошлой неделе тринадцатилетний карузо Анжеллду был убит своим пиконьером восемью ударами палки.

— А разве пиконьера не арестовали?

— Их никогда не арестуют. Кому какое дело до карузи? Если карузи убиваются своими хозяевами, то для властей они считаются умершими своей смертью. Недавно другой карузо в серных копах Фикуца умер от удара ногой в живот.

— Как твое имя, — спросил я карузо, рассказавшего мне эти ужасы.

— Филиппо Таглиалана из Кампобелло. Мне тринадцать лет. Я уже пять лет работаю, как карузо, и должен своему пиконьеру двадцать пять лир, которых никогда не в состоянии буду уплатить.

Мы двинулись далее весьма опечаленные. В половине четвертого мы прибыли в серные копи Ла-Минтина, где 10 июня 1886 года обвалом в галлереях убило 142 человека, пиконьеров и карузи.

Выработанные галлереи никогда не засыпаются и не подпираются. Необычайно большое число галлерей, образовавших громадную подземную пещеру, произвело этот обвал.

В одном конце ямы мы нашли несколько печей, устроенных для очистки минерала. Здесь и там виднелись углубления вроде ниш, обложенных камнем. Это спуски в копи. Перед нами стояли совершенно голые мальчики от девяти до четырнадцати лет, а также пиконьеры, все в костюме Адама, прикрытые лишь узкой повязкой, охватывающей бедра. Эти группы мальчиков и взрослых с темно-коричневой кожей, выделявшейся на выжженной голой земле—только на некоторых склонах виднелись кусты кактуса и индейских фиг,—казались не итальянцами, а африканцами или индусами.

Карузи на всем своем теле имеют отчетливые следы тех страданий, которым они подвергаются.

В виду того, что они берутся на работу в возрасте от восьми до десяти лет, у них, благодаря непосильному напряжению, оказываются искривленными плечи и вывихнутые, изуродованные ноги. Вследствие недостаточного питания, глаза их глубоко ввалились в орбиты, а их детские лбы покрыты преждевременными глубокими морщинами.

Для урегулирования детского труда существует закон, по которому ни один мальчик не должен допускаться к работе до полного достижения им двенадцатилетнего возраста, но закон этот остается без применения.

Все карузи, которых я опрашивал, начали свой рабский труд с восьми или девяти лет. Большая часть говорила мне, что они еще не зарабатывают в день и пятидесяти центизимов, и что эта плата дается им не деньгами, но сквернейшей мукой и по такой цене, которая значительно превышает цену муки в окрестных селениях.

— А когда у нас искривляются ноги,—добавил один из них,—и мы недостаточно быстро поднимаемся со своей ношей по ступенькам шахты, то нас награждают палочными ударами.

— А сколько часов вы работаете? —спросил я.

— Обыкновенно—двенадцать часов сряду, от четырех до четырех, и непрерывно шесть дней, так что

в течение этого времени мы здесь и спим, и лишь на седьмые сутки отправляемся на ночлег домой.

— Где же вы здесь спите?

— На земле или вон в тех пещерах, — и они указали на несколько выемок, представлявших настоящие троглодитовые обиталища.

— А наиболее счастливые, — добавили они, — спят там.

И они довели меня к пристроенному к печи черепичному навесу, под которым помещались деревянные нары, без соломенного тюфяка. У конца этих нар как раз обедало несколько карузи со своим пиконьером. Они ели сухой хлеб с луком.

— Вы не пьете вина? — спросил я.

— Вина? — переспросили они и с изумлением посмотрели на меня, — кто же нам даст его?

— Была бы по крайней мере вода, а то и воды то не дают. И в часы, остающиеся нам для сна, нам самим приходится далеко ходить за водой.

— Сколько раз на день приходится тебе в среднем подниматься со дна шахты с грузом серы? — спросил я одного из карузи.

— Двадцать пять раз по минной шахте, протяжением более ста метров, и за плату всего в двадцать семь сольди.

Нас окружили другие карузи, все измученные, искалеченные чрезмерной работой, задержавшей развитие организма: настоящие типы заморенных рабов.

Узнав, что мы осведомляемся об их положении, они отыскивали кое-какое тряпье для прикрытия своих голых тел и подходили к нам, чтобы рассказать, как им живется.

То было душу раздирающее зрелище.

У одного из этих несчастных были очень умные глаза, и он с поразительной быстротой и находчивостью отвечал на наши вопросы. Но в большинстве случаев страдание наложило на лица их печать тупости, а из-под глаз их с потухшим, мутным взором виднелись синяки.

Мы пытались спуститься в шахту копи Ла-Минтина, но она была так узка, крута и опасна, что, пройдя несколько метров, мы должны были отказаться от этой попытки. Нам казалось совершенно непонятным, каким образом бедные карузи могли вытаскивать на своих плечах тяжелую ношу серы из глубины этого колодца.

После первой неудачи мы решили проникнуть в более широкую шахту и были приведены ко входу № 3 копей Вирдилио, где работало не менее 1.300 пиконьеров и карузи.

При мерцающем свете двух маленьких лампочек, носимых нашими карузи, стали мы спускаться в эту шахту. Мы должны были при этом идти, постоянно согнувшись и придерживаясь руками за боковые стенки. Ступеньки в окаменелой почве были выделаны в высшей степени неравномерно — то высоко, то низко одна от другой, со стертыми краями, и, кроме того, были или покрыты слоем пыли от сухости, или скользки от сырости. Мы протискались лишь несколько метров, как заметили снизу слабые огоньки. Это светили лампочки нескольких карузи, которые, скорчившись под своей ношей серы, поднимались. Скоро мы услышали скорбные и жалобные звуки: это вздыхали несчастные карузи, и вздохи эти, по мере приближения к нам маленьких страдальцев, слышались все явственнее; эти вздохи и стоны вырывались из груди хрупких, изможденных и запыхавшихся существ, совершенно обессиленных, но вынужденных, во что бы то ни стало, двигаться вперед и подниматься вверх из боязни, что пиконьеры заметят их усталость и станут мучить, или подгоняя палками или поджаривая их под колена огнем лампочек.

И, слушая эти стоны и вздохи, я чувствовал, как замирает мое сердце при мысли о страданиях этих маленьких парий. Когда же мы, прижавшись к мокрой стене, чтобы пропустить согнувшихся под непосильной тяжестью карузи, увидели, как их изуродованные ноги дрожат под этой ношей, то меня охватила безграничная скорбь.

— Возможно ли это, — вырвался у меня невольный крик, — возможно ли, чтобы такая гнусность, практикуемая в течение столь долгого времени, была терпима еще и теперь?

Ни один писатель в мире не в состоянии вызвать надлежащее представление о действительности в том, кто сам не видал ее воочию в этих адских норах серных рудников.

Мы задержали некоторых из карузи и освободили их на минуту от тяжелой ноши, которая оказалась состоящей из полного мешка мелких кусочков серы и одного громадного куска серной массы, что в общем составляло груз в 40—50 килограммов.

Мы установили при этом, что кожа у карузи на плечах и на всей спине, огненно-красная по цвету, была покрыта или рубцами, или обнаженными язвами, или мозолями и темно-синими рубцами.

Мы двинулись дальше и вскоре, повернувши влево, во второй части шахты, с более высокими и еще более опасными ступенями, встретили другие вереницы карузи, которые, согнувшись под страшной тяжестью, подымались и беспрестанно издавали те жалобные стоны, которые надрывали нам сердце. Я слышал, как один из них плачущим голосом говорил на своем диалекте товарищу, с которым он вместе подымался: „Я так устал, не могу больше нести мешка, он у меня валится из рук“.

При третьем повороте шахты я встретил русого карузо, который от страшного переутомления не мог дальше подыматься. Он положил свой серный груз возле себя на землю и, припав к ступеням, тихо плакал. И из его голубых глаз, с совершенно красными, вспухшими веками, катились крупные слезы по впавшим, бледным щекам.

Мне, как журналисту, доводилось в своей жизни видеть всякие страшные вещи в Италии, Франции, Германии, Англии, Африке и Америке, я бывал свидетелем расстреливания, повешения, суда Линча, кровавых схваток и разных смертей, как в лазаретах, так и в других местах.

Но ни одна из этих картин не потрясала меня так глубоко, как эти сцены в серных копиях Вирдилио.

Этот варварский труд, взваленный на плечи слабых мальчуганов (которые, благодаря той обстановке, в какой им приходится жить, делаются к тому же жертвами педерастии и других безобразий), представляет явление, вопиющее о мести к самым небесам и свидетельствующее о попрании всякой человечности.

Приходится стыдиться, что родился в стране, где и поныне существует такой позор варварских времен.

Когда мы поднялись наверх, то платья наши оказались пропитанными потом, точно после горячей ванны, и свежее воспоминание о виденных ужасах лишило нас способности говорить и обмениваться друг с другом своими впечатлениями.

* * *

Я передаю здесь только беглые наброски и заметки, которые я сделал карандашом во время экскурсии в сернистые копи близ Кальтинисеты.

Семь часов утра. После того, как мы оставили за собой город, мои два приятеля, любезно взявшиеся проводить меня, — адвокат Анжело Джиарицо и студент медицины Паоло Тробина, — показали мне вырытые в туфе вдоль дороги Санта-Анны землянки, в которых — до последнего времени — многие семейства серных рабочих проживали весь свой век. Некоторые и теперь еще живут там. Городское управление велело очистить эти землянки, но не столько из-за попечения о санитарном благополучии обитателей или же из человеколюбия, сколько из боязни быть привлеченными к ответственности и уплате убытков, так как эти троглодитовые пещеры грозили обвалом.

Мы прибыли в обширную долину, усеянную небольшими холмами, похожими на исполинские кротовины. Частью это входы в серные копи, частью же кучи сырого материала, который везут к серным кострам и там зажигают, добывая таким образом серу самым древним способом.

Мы приближаемся к такому, еще только что подготовляемому костру.

Восемь человек ссыпают сырой материал в корзины, которые опоражниваются пятнадцатью мальчуганами в отверстие костра. Это — работа, которая с успехом могла бы производиться с помощью тележек, но выполняется трудом карузи, потому что это обходится гораздо дешевле. Возраст этих мальчуганов колеблется от 10—18 лет. Они зарабатывают в день от 1 до 1½ лир, смотря по количеству минерала, который они в состоянии перетащить на себе. Чтобы заработать на несколько сольди больше, они непрерывно бегут от минеральных куч к серному костру. Когда они работают на поверхности земли, то не совсем голы, а в штанах. Неприятно поражает посетителя то обстоятельство, что менее тяжелый труд — наполнение корзин — исполняется взрослыми пиконьерами, более же тяжелая работа — переноска полных корзин — возложена исключительно на мальчиков.

В недалеком расстоянии виднеются серные копи Госсолуново, где лет десять тому назад произошел обвал, убивший 58 человек. Изуродованные трупы не были даже похоронены на кладбище в Кальтанисете. Тут же по близости отвели одну общую могилу, в которой и похоронили всех 58 человек.

Восемь с половиной часов. — Мы приближаемся к двум входам в серные копи Цинирела, где работало около ста человек.

В одно отверстие входят в копи, а из другого выходят. Это уже прогресс по сравнению с другими копиями, где для входа и выхода имеется одно отверстие.

Мы только что стали у выходного отверстия шахты, как увидели трех горбатых карузи, выходящих оттуда друг за дружкой. За ними следовали другие несчастные, согнувшись под тяжестью своего серного мешка, который они носли на спине.

Все они стонут от напряжения, и пот с них струится градом. Некоторые вовсе без одежды, кроме малень-

кой тряпицы спереди, другие в штанах, иные же, как это ни странно, в одних жилетах. Большинство из них физические уроды.

Один мальчик лет шестнадцати выглядит по виду десятилетним; мне говорили, что он сделался карузо с восьми лет. Другой рассказал нам, что начал работать в качестве карузо с семилетнего возраста.

Теперь их принимают только с девяти лет, но этого придерживаются только здесь, в серных коях, прилегающих к главному городу провинции и потому пользующихся большим вниманием дирекции. Внутри же провинции берут мальчиков семи—восми лет так же, как это проделывают и в серных коях Вирдилио.

— Сколько вы зарабатываете в день? — спросил я одного тринадцатилетнего карузо.

— Одну лиру в день, — ответил он мне, — но я из числа перворазрядных. Другие, младшие мои товарищи, не более двенадцати сольди в день (шестьдесят центзимов); самым сильным и опытным удастся зарабатывать самое большее тридцать сольди (полторы лиры) в день.

— А сколько оборотов туда и обратно вы делаете ежедневно?

— Так как серные копи весьма глубоки, то мы не можем сделать более десяти—двенадцати оборотов в день, при чем мы каждый раз пробегаем триста пятьдесят ступеней шахты, не считая галлерей.

Восемь и три четверти часа. — Получив у одного из владельцев копей разрешение на вход, мы спустились в шахту под руководством провожатого карузо, несшего впереди нас лампочку. Эти лампочки, которые карузи обыкновенно прикрепляют желтой проволокой к своим шапкам, представляют собой маленькие открытые терракотовые кувшинчики с воском, через который проходит фитиль. По своей форме они напоминают этрусские лампочки. Они стоят два центзима каждая, но очень неудобны, так как легко разбиваются; масло, которого входит в них весьма мало, выливается, благодаря чему их надо ежечасно вновь наполнять. Мы

спускаемся по ступеням вниз, идя сводом, прорытым в гипсе, серной массе или туфе, иногда во весь рост, чаще же согнувшись и скорчившись в три погибели. Ступени лестницы, называемые здесь „большие ступени“, когда уклон пещеры не превышает сорока градусов, занимают всю ширину спуска. Называют их также „здоровые ступени“; они имеют 20—25 сантиметров высоты и глубины. Когда же уклон больше сорока градусов, тогда лестница делится по ширине на две части и состоит из так называемых „ломаных ступенек“ или, как говорят, „мужчин и женщин“. Подобные лестницы устроены таким образом, чтобы было возможно одновременное поднятие и спуск в шахту, так как иначе движение при чрезвычайной высоте ступеней было бы чересчур утомительно. Многие ступени поломаны и лоснятся от постоянного употребления. На стенках свода, особенно если они из гипса, также видны лоснящиеся следы прикосновения рук карузи, опирающихся о стены во время пути.

Но, спустившись более чем на четыреста ступеней, мы уже не находили ни „здоровых“, ни „ломаных“ ступеней; пещерная шахта подвигалась зигзагами вперед, и приходилось ступать через отбросы серного минерала. Ежеминутно приходилось нам прижиматься к стене, чтобы пропустить мимо себя карузи, спускавшихся бегом для поднятия новых тяжестей. По большей части голые, с небольшим передничком впереди, плохо освещенные лампочками, они своими обезображенными лицами и смуглой кожей напоминали скорее австралийских негров, чем европейцев.

Местами стены сводов над входными лестницами и в галлереях шахты подперты досками и балками, из которых некоторые гнутся под тяжестью и грозят обвалом. По сторонам кое-где видны галлереи, закрытые деревянной решеткой, потому что они либо уже выработаны, либо представляют опасность для жизни рабочих. Почему эти пустые галлереи не подпираются надлежащим образом после того, как столько обвалов и катастроф доказали грозящую от них опасность?

Девять часов. В том месте шахты, которое называется „подножием лестницы“, мы нашли круглую галерею, похожую на обширный грот. Обнаженный пиконьер, с которого пот льется градом, ударяет мотыгой по широким, желтым серным жилам. Четыре или пять карузи собирают выбитые куски минерала и наполняют ими свои мешки. Грот этот при мигающем свете лампочки представляет ужасающее и вместе с тем живописное зрелище, впечатление от которого еще усиливается от разнообразия желтых, красноватых и темных полос горных пород, испещряющих своды пещеры.

Нередко случается, что пиконьеры находят натуральные гроты с превосходнейшими сталактитовыми образованиями. Недавно был открыт такой грот в Леркара Фридди. Но в несколько дней все эти прекрасные и блестящие образования были самым варварским образом разрушены и растащены. Я едва нашел кое-какие следы от них.

Жара здесь удушливая, и мы могли только несколько минут выдержать ее в галлее „подножие лестницы“.

Девять с четвертью часов. — Мы идем в другую шахту, с совершенно развалившимися стенами, куда приходится спускаться также согнувшись. Низкий свод подперт балками, но в высшей степени ненадежно.

Обливаясь потом, мы, наконец, в девять с половиной часов достигаем конечной галлерей, называемой „аллеей прогулок“ и представляющей обширную пещеру, в которой работает много пиконьеров.

Удары кирок, сильные и непрерывные, как будто производимые автоматической силой, глухо отдаются в полутемном пространстве. Эти живые машины-пиконьеры вызывают в моей памяти песню рудокопов Раписарди, текст которой (в русской прозе) следующий:

Средь мрачных ущелий, средь скал,
Где нам ежечасно грозит обвал,
В темных пещерах, среди глубоких шахт
И черных, холодных, как лед, переходов

Среди убийственных миазмов, в вечной темноте
Мы отрешены от общества, от всего мира,
Для услаждения часов досуга неведомых господ —
Мы, пиконьеры гор и пропастей,
Заживо погребенные, добываем сокровища.

И они, действительно, добывают сокровища. Даже и эти серные копи Циннирела, считающиеся менее, чем другие, доходными, обогатили уже многих в Кальтинисете. И тем не менее, владельцы не находят возможным и не считают себя обязанными применять более разумные и человеческие способы для их разработки.

Девять и три четверти часа. — После незначительного отдыха мы возвращаемся назад. Подъем утомителен и очень тяжок даже для нас, сильных, хорошо упитанных людей и, к тому же, не обремененных никакой ношей. Как же этот подъем, даже при всей привычке к нему, должен быть невыносимо тяжел для несчастных карузи!

Мы встречаем их каждую минуту; мы слышим их учащенное дыхание, душу раздирающие стоны. Некоторые из них от времени до времени ударяют своей серной ношей о низкие своды. Многие, поскользнувшись, падают.

В. Воинов.

АЛЕШКИНА ШАХТА.

I.

В четыре часа, перед самым рассветом, из шахты „Амур“ вылез последний зарубщик.

Вылез он так же спокойно, как и все остальные, отбывшие только что ночную смену: поглядел на восток, где повыше пушистой полоски тумана занималась заря; зевнул так крепко, что от судороги не сразу сумел закрыть рот; потом вскинул куртку на плечо, загасил лампу-шахтерку и тихо побрел через мокрую степь спать.

В пять часов утра штейгера ¹⁾ девчонка Феклушка, вышедшая на балкон ставить самовар, неожиданно бросила на пол трубу и кинулась опрометью назад в комнаты:

— Мамка,—кричала она еще на ходу,—у нас ночью украли отцову рубашку.

Мать Феклушки—босая, простоволосая—в одной юбке выскочила на крыльцо и хватилась за голову.

Да и как не хватиться, когда самая лучшая сорочка, висевшая с вечера на веревке рядом с другим, только что выстиранным домашним тряпьем, исчезла бесследно.

— Ну что ж теперь делать?—твердила штейгериха.

А в это же самое время старый шахтер Бурсак, собиравшийся ехать на Юзовку за бочонком для новой

¹⁾ Штейгер—горный техник.

капусты, неожиданно глянул на крышу низкого сарайчика, где у него вторую неделю уже доспевали на солнышке огромные желтые тыквы.

Глянул, плюнул на землю и выругался.

У четырех тыкв—самых крупных и спелых—не хватало по целому боку.

Как это могло получиться—тут не только Бурсак, а и поумнее его едва ли бы смог разобраться.

— Ну, погоди. Вот приеду из Юзовки, я тебе покажу, где раки зимуют.

Кому пригрозился Бурсак, — тоже сказать очень трудно.

Но на первых порах попало, конечно, Бурсакову коню.

Сердитый старик вытянул его через всю спину кнутом и, громыхая колесами, во весь дух выкатился из поселка.

Если бы у Бурсака было время, и если бы голова его не была так занята тыквами, он мог бы, одним глазом хотя, увидеть по дороге занятое зрелище.

У последней избы, что стояла на самом краю поселка, Бурсаков сват Дедюра полосовал вчетверо сложенными вожжами своего старшего сына.

Зажав между колен Прокошкину кудластую голову, бьет и еще приговаривает:

— Ежели тебе, щучьему сыну, велели стеречь, так ты стереги. Бычок не иголка. Чтобы целого, можно сказать, быка, да из жилого двора, да еще и с закрытыми воротами, да из-под самого носа у тринадцатилетнего разини смогли воры вывести... да этого в жизни ещё никогда не было.

И Прокошка покорно вертелся под отцовской вожжей и только визжал, как подсвинок.

Промчавшийся мимо Бурсак ничего не заметил, конечно.

Но зато это видел стороженок Алешка, сын старого рудничного сторожа Матвея Егорыча.

Встал Алешка до света.

Обошел дровяной двор, где горой были свалены доски и брусья; побывал потом около рудника, прово-

жая глазами уходивших на отдых зарубщиков; заглянул к штейгеру, где как раз ревела во весь голос Феклушка, постоял подле хаты сердитого Бурсака, пока тот не погнал во весь дух свою лошадь; завернул и к Дедюриной хате, чтобы узнать, за что нынче Дедюра колотил Прокошку.

А когда, весь взопревший от трудной работы, Дедюра освободил из колен Прокошкину голову, перекинул через плечо вожжи и, отдуваясь, пошел к себе в хату, Алешка решил, что ему тут больше нечего делать. Посвистал, сунул руки в карманы и зашагал прямо к конторе.

— Ну-ка, что оно будет еще,—думал он на ходу,—не должно быть, чтоб на этом и кончилось.

II.

У Алешки глаз вострый, с крючком; от него ничего не укроется.

Если где-нибудь лунь подхватил на-лету недотепу-цыпленка — первый узнает об этом Алешка.

Подойдет прямо к хате, постучится в окно и скажет:

— Тетка Палага! А, тетка Палага!

— Чего тебе, хлопче?

— А того, что ты бы получше глядела за своими четырнадцатью курчатами.

— Четырнадцать! То не мои! Моих, хлопче, пятнадцать.

— А ты верно считала?

— Ну да!

— А когда?

— Да сегодня же утром!

— Ну, а лунь им сейчас только делал поверку и велел передать, что всего их четырнадцать.

Скажет вот так и уйдет.

— Дед Егор Алексеич! Дедка Алексеич! У тебя, что ли, торба пропала? — говорит стороженек Алешка уже через улицу старику стволотовому ¹⁾.

— У меня, родной мой. У меня.

— Ну, так ищи ее у Авдотьи Гарбузницей. Вчерась вечером ехал Андрей на Гарбуз по бугру за плотину. Видит—торба лежит. Понимаешь.

А еще и такое с Алешкой бывает, что придет прямо в хату, отзовет кого надо и скажет:

— Ты бы, дядька Серега, отнес решето да поставил на старое место.

Только это и скажет. А глядишь, уже дяденька Серега весь умлел, как малина, и стыдится глядеть на людей.

Уж такой, видно, глаз у Алешки, что никак от него не уйти—ни собаке, ни зайцу, ни скворцу в своей каменной щелке, ни цветку в камышах подле речки, ни жуку с своим катышком на пыльной дороге, ни человеку.

Все видит Алешка. И—добро бы еще на земле.

А то и внизу, во всех шахтах—и в таких, где работы идут, и в таких, где давно все завалено, брошено—даже там каждый день все углы, все места побархтит Алешка и дойдет до того, до чего даже штейгеров глаз не всегда докопается.

С ранних лет знает шахту Алешка.

На четвертом году стал Алешку отец его, рудничный сторож, брать с собой в дозор.

Завернет его в теплый лохматый тулуп, обожмет крепко—и таскает с собой до утра, то туда, то сюда.

Так и вырос Алешка в дозоре.

На восьмом году помнит Алешка, как отец его раз захватил Водовозова сына за кражею угля.

Взял за ворот, крепко трянул и поставил опять на ноги.

— Ты полегче, дядя Матвей—запросился тогда Водовозов парнишка.

¹ Ствол—отверстие в земле, через которое идет в шахту клеть и подымает уголь. Стволотые—рабочие у ствола.

— А ты не воруй.

— Жалко, что ли, тебе.

— Не угля, а тебя, дурак, жалко. Уголь—что. Уголь мертвое дело. А вот ты—человеком рожден. Человеком и будь, а не вором.

На десятом году стал Алешка уже через ночь сам ходить вокруг рудника: ночь—отец, ночь—он.

И такой вышел дошлый, что уже и не скажешь—кто лучше из них свое дело несет—старик или малый.

До всего теперь дело Алешке.

Роят шурф¹ — подойдет, сядет подле на корточки и следит, как кирка пробивает породу: сперва мягкая почва идет, потом сланы пойдут, а потом и песчаники; тут уж ломом не сделаешь ничего: нужно порохом рвать.

Ставят новый котел—для Алешки праздник.

Станет и смотрит: веревкой его не загонишь обедать.

А как в шахту удастся ему попасть—так уж тут и с собакой его не разыщешь.

И по лестнице вниз, словно ящерка, скатится, и на сос весь до самых малюсеньких гаек, до самых последних болтов руками ощупает; и, когда начинают качать воду—он должен увидеть; и когда вся вода уже выбрана—он заглянет везде—во все дыры и щели, а какая труба идет с паром, а какая с водой; и в конюшню зайдет, где стоят, ткнувши морды в овес, полуслепые, годами уже не выдавшие света, лошадки; и все ходы Алешка обегает, и в пустые, давно уже брошенные шахты ему нужно, и туда—где работы идут полным ходом, тоже надо Алешке, чтобы знать, как тяжелыми взрывами динамита рвут на части пласты зернистого, алмазом сверкающего при огне тусклых ламп, драгоценного угля; как ломают его потом на куски; как кладут в вагонетки; как вагончики гонят к стволу; как большой бородач-стволовой загоняет вагончики в клеть под'емной машины; и как потом клеть вместе

¹ Шурф—неглубокая яма.

с грузом исчезает вверху, роняя все с себя в открытый колодец: капли звонкой воды и мелкие угольные осколки.

И людей Алексей держит тоже все время под глазом.

Только к людям еще больше жаден, чем к машинам, камням и цветам.

Как сошлись где ребята, деды или бабы,—он там.

Сам—молчит, не проронит ни слова.

Может сутки сидеть, если спорят; даже дело способен забыть, если кто стал про город рассказывать.

Где он книжки достал и когда научился читать—даже мать и та вряд ли сказала бы.

Только книжек он много уже пропустил через руки.

Прочтет книгу в один день; а потом уйдет в поле и думает:

— Что, Алешка! опять прочитал что-нибудь?—спросит мать.

Ничего не ответит. Только двинет бровями. Дескать это—мое уж дело.

Вот и нынче как раз, отстояв свою очередь на лесном складе и засунув под утро за пазуху истрепанную книжонку, собирался, было, Алешка пройти в каменоломню, да за одно прочитать одну очень занятную историю.

Так и вышло бы все, если б не крики Феклушки на крыльце у штейгера, и не ругань старика Бурсака, да не вожжи Дедюры, что с утра уже принялись ходить по широкой спине Прокошки.

„Что такое, — задумался крепко Алешка, — вон рубашка пропала у штейгера, у Дедюры быка увели, а Бурсак, тот без тыкв теперь будет. Как же так это вышло? Спать не спал, а ходил, как всегда, чуть не вокруг всего поселка. Если бы был кто чужой—не пройти бы ему незамеченным. Вчера еж пробежал мимо старых весов, так и того я, разбойника, сразу

услышал. А теперь... У Прокошки спина, небось
вспухла... Надо будет потом пойти, поглядеть."

— Ты куда—закричала ему еще издали семенившая
с рудника бабка Шеблычиха.

— До конторы сначала, а после на рудник.

— На Амур?

— На Амур!

— Да тебя только там нехватило!—моргая глазами,
прошипела Шеблычиха.—Там постарше тебя есть на-
род, да и те теперь головы потеряли.

— Завалилась порода. Вода залила.

Но Шеблычиха даже и слушать не стала.

Подошла к Алексею вплотную, подняла кверху
скрюченный палец и шепнула совсем уже тихо:

— На работу-та смена не идет!

— Не идет?

— Не идет!

— Отчего же она не идет?

— А поди-ка вот сам, распытай!

И старуха, подняв еще выше свой скрюченный па-
лец, вздыхая, как мех, и выкрикивая непонятные какие-
то слова, засеменила к поселку.

III.

Подле здания шахты „Амур“ сбилась кучка на-
роду.

Это были — отбойщики, ¹⁾ саночники, запальщики, ²⁾
откатчики, вагонщики, стволые,—словом, вся дневная
смена.

С ломами, с поддирами, со светящимися лампами
стояли они среди груды бревен, предназначенных
к спуску, и возбужденно галдели.

В середине толпы стоял штейгер.

1) Отбойщик—рабочий, дробящий угольный пласт.

2) Запальщик — рабочий, взрывающий пласты угля динамитом.

Он был в кожаной куртке, в просмоленной шапке, с резиновым плащом через левую руку.

Правой рукой он размахивал в воздухе и что-то кричал.

— Так не полезете?

— Нет!

— Я в последний раз спрашиваю.

— Полезай сам, если храбрый такой! С нас дозволено уже. Мы уже видели, — кричали шахтеры — одному еще, верно, могло показаться, а чтоб всем четверым...

— Эх! Трусые!

Штейгер громко ругнулся, накинул на плечи резиновый плащ и пошел сквозь толпу к отверстию шахты.

Толпа расступилась.

— Давай лампу! — приказал кочегару покрасневший, озлобленный штейгер.

Лампу дали.

Штейгер смело вошел в клеть подъемной машины и крикнул!

— Давай крепче наниз!

Клеть лязгнула коротко холодной цепью, поднялась над черным провалом, из которого рвались наружу клочья грязного серого пара, и сразу пропала вниз.

Только ветер пошел по щекам у стоявших, да в глазах зарыбил убегающий вниз стальной трос¹⁾.

Из шахтеров никто не промолвил ни слова.

Они сбились в сплошную стену у отверстия шахты, куда только что скрылась железная клеть, и с бледными лицами ждали.

Вдруг трос замедлил свой бег.

Клеть спустилась совсем и была теперь глубоко под землей, собираясь остановиться на дне шахты.

Вот трос вздрогнул.

И в ту же минуту прокатился под крышею здания тревожный сигнал.

Люди хлынули прочь от отверстия.

¹⁾ Трос — стальной канат, по которому поднимается клеть.

— Давай вверх! Давай вверх!—раздалось одновременно.

Но машинист не нуждался в подсказках.

Напряженный и чуткий, он поймал тревожный звон и общим поворотом кулисы ¹⁾ пустил барабан с оглушительной скоростью в обратном направлении. Теперь трос взбегал вверх на блоке с такой быстротой, на которую только способна была машина.

А люди стояли, не смея приблизиться к шахте, и ждали.

Последний толчок. Трос сдает. Цепь уже на поверхности.

А вот и сам штейгер.

Он стоит во весь рост под стальными щитами. Бледный. С диким блуждающим взглядом.

Лампа прыгает в дрожащей руке.

— Что? Видал?—раздалось, наконец, в толпе.

— Говоришь—не бывает!—спросил черный лохматый старик с одним глазом.

Штейгер вышел, дрожа, из клетки.

Он едва мог стоять на ногах.

— Как хотите!—прохрипел он с усилием,—не верю! Знаю, что этого не может быть! Но... видел сам! Вот этими самыми глазами.

— То-то, брат, и оно! Ежели чорт, так он чортом и будет.

Штейгер как-то неловко пожал плечами и, наконец, перевел дух.

— Нужно будет сказать инженеру. Эй! Кто тут помоложе.

— Вон Алешка! Стороженок Алешка!

— Пускай стороженок бежит к инженеру.

Стороженка втолкнули в толпу, и он оказался лицом к лицу с штейгером.

— Алексей! Вот в чем дело! Одним духом слетай к инженеру и скажи, что сегодня работать не будем!

¹⁾ Кулисы—рычаги, которыми пускают в ход машину.

— Почему?—спросил тихо Алешка.

— В шахте—чорт!

Сторожонок потупился.

— Передай инженеру, что ни один человек не полезет! Скажи—штейгер, мол, сам опускался и своими глазами видал! Понял?

— Понял!

— Так чего же стоишь?

— Да вот жду!

— Чего ждешь?

— Может быть, кто-нибудь согласится еще!

— Да на что согласится? Голова ты с мозгами! На то, чтоб сходить за тебя к инженеру?

— Нет! Я не о том!

— Так о чем же еще?

— Насчет шахты!

Гулкий хохот потряс стены здания.

— Да ты что же, шенок, учить, что ли, нас задумал! Говорят тебе ясно: ни один человек не согласен...

— Ну, а если найдется? — поднял вдруг лицо от земли сторожонок Алешка.

— Уж не ты ли, шенок!—громыкнул страшным басом одноглазый запальщик-старик.

— Хотя бы так! — совсем тихо сказал Алексей, и глаза его вспыхнули вызовом.

Не сказав никому больше ни слова, он почти вырвал из рук у ближайшего рудокопа зажженную лампу, и не успели еще окружающие понять, в чем дело—он стоял уже в клети, и голос его — металлически-звонко разорвал напряженную тишину:

— Давай наниз!

Клеть угрожающе вздрогнула и, на глазах изумленной толпы, послушная привычной команде, исчезла в провале.

И теперь эти люди, из которых не меньше, чем пятеро—четыре шахтера и штейгер — своими глазами видали, назад тому несколько минут, ужасного горного чорта,—стояли немые у края отверстия и еще не могли себе ясно представить, что вышло.

А стальной трос уже сдал на бегу и, наконец, совершенно утратил движение.

— Сейчас!—пронеслось в голове в это время у каждого.

Но сигнала к тревоге на этот раз не было.

Не услышали они его и минутою позже.

— Что за оказия!—начали переглядываться между собою шахтеры.

— Не иначе, сграбастал чертяка мальчонка!—решил, наконец, одноглазый запальщик.

И всем стало жутко.

IV.

Алексей стоял в клети и ждал.

Клеть летела в провал с такой скоростью, что терялась опора под ногами.

Было сыро, темно, лампа тускло мигала.

Сердце дергалось больно и сладко, а в ушах стоял свист.

Скоро струи воды стали со звоном дробиться на плоских щитах.

Алексей прижал лампу к груди и весь замер.

Вот толчок. Клеть сдала. Стала тихо совсем опуститься к колодцу. ¹⁾

Наконец, что-то звякнуло снизу.

Алексей был теперь под землей.

Больше ста саженей отделяло его от поверхности.

— Ну, пора,—сказал сам себе Алексей, и, подняв в руке лампу, глянул прямо перед собой.

Прямо в упор на него из черного мрака, налитого сыростью пара, глядели сверкающие огромные глаза.

Выше их остро вырезались, освещенные пламенем лампочки, круглые рога.

Алексей поглядел прямо в эти глаза, потом смело шагнул им навстречу и, поймав свободной рукой мокрый рог, рассмеялся.

¹⁾ Колодец—два ствола, наполненные водою.

— Ну, чертяка! Ворочайся, что ли! Из-за тебя вон Дедюра исполосовал вожжами всю спину Прокошке!

Чорт пустил из ноздрей теплое облако пара, уронил клочок пены с нижней губы и покорно повернулся в обратную сторону.

И теперь, когда он стоял уже задом к Алеше, при слабом мигании лампы можно было свободно разглядеть и его крутой круп, и спокойно покачивающийся хвост, и острые выступы задних ног, одетых пушистой шерстью.

— Гей, скорее! Бодяга!—толкнул его в бок кулаком стороженек.

— М-м-му—ответил ему заунывно и жалобно „чорт“, и в соседней подземной конюшне, где стояли на привязи лошади, раздалось удивленное радостное ржание.

V.

— Ну, мальчишке конец!—говорили в толпе, все еще никак не решавшейся разойтись и покинуть тот черный провал, куда четверть часа тому назад ушла клеть с отчаянным мальчиком.

— Нужно будет сказать инженеру. А потом кто-нибудь дойдет до Матвея Егорыча.

— Сразу только не надо пугать старика! Скажем просто, спустился, мол, в шахту. А что было потом—неизвестно!

— Жаль старуху! Любила парнишку!

— Да, парнишка был дошлый!

— Ну! Пора по домам!

Штейгер снял с себя плащ, отдал лампу и пошел сквозь толпу к выходу.

Люди тоже помялись с минуту, повздыхали, поскребли себе крепко затылки и тронулись вслед за штейгером.

Когда они плотной кучкой—молчаливой и мрачной—миновали забор дровяного двора,—кто-то из них вдруг коротко вскрикнул, и затем вся толпа встала сразу, как вкопанная.

От поселка на них шел Алешка.

Он держал в руке ветку, колотил ею себя по голенищам сапог и виновато посмеивался.

— Ты живой или нет? — налетел, наконец, на него растерявшийся штейгер.

— А как видишь!

— Ну, а чорт! Ты видал?

— Ну и что же!

Алексей помахал сперва веткой, потом указал ею в сторону Дедюриной хаты, где другая толпа любопытных окружала нашедшегося бычка, и оскалил все белые зубы:

— Вон ваш чорт! У Дедюры! Сейчас отрубей ему вынесут!

VI.

— Тут все просто случилось, — объяснил потом дома Алешка.

Часу в пятом Прокошка заснул.

Бычок мордой раздвинул ворота и вышел.

В двух десятках шагов от ворот как раз старая шахта — наклонка дырою выходит.

Бычок видит: — дыра. Почему не войти бы.

А вошел — повернуться не может — узковат больно ход.

Ну и пришлось ему дальше шагать — вниз под землю — пока не дошел до самой сбойни с вертикальной шахтой.

По этой же сбойне спустился к колодцу.

А там, значит, попил водицы и хотел, может быть, повернуться назад, да как раз первая партия дневной смены чуть не в морду ему своей клетью в'ехала:

Видит бычок — люди.

Значит, чего же еще бояться.

А люди увидели рога, да и давай бог ноги.

Как узнал я у них наверху, что чертяка внизу об'явился, да припомнил, как утром Дедюра Прокошку вожжами тузил за бычка, да подумал о том, что наклонка выходит направо против ворот Дедюриной хаты — ну и стало мне ясно — в чем дело.

Выгнал бычка снова вверх по наклонке.

— А что у штейгера рубашка пропала, так ее тот-же самый чертяка сжевал.

Он же и тыквы погрыз Бурсаковы, перед тем, как спуститься в наклонку.

Вот и все.

Нет, не все.

Десять лет протекло с той поры.

Шахту „Амур“ углекопы прозвали „Алешкиной шахтой“.

Сам же Алешка не долго сидел там. К свету привольно рвалась его мятежная душа.

Пошел на заводы, и в Питер добрался. Мастером стал.

Сознательный, ясный ум его выдвинул скоро в ряды делегатов, избранников.

Послан теперь он в родные места за углем для завода.

Кармен.

СЫН КОЛОДЦА.

(Из жизни каменоломщиков.)

Больно глазам становится, если взглянуть сейчас на степь, что широко раскинулась за городом, за слободкой Романовкой. Она дымится под палящим солнцем и сверкает, как серебряный щит.

— Ну, и парит! Ай-да жарища! Одно слово — баня!—восклицают каменоломщики.

Они на минуту высунутся из колодцев каменоломен, рассеянных в степи, и тотчас же скроются.

Степь будто вымерла. Ее оживляют только несколько баб-молочниц из ближайшей деревни, которые гуськом на маленьких тележках плетутся в город.

Да еще одно существо оживляет степь—Пимка.

Пимка—сын сапожника Митрия, первого „мухобоя“ и скандалиста во всей слободке.

Восемь лет ему. Но он смышлен и боек.

Как стрела, мчится он вдоль степи.

На нем синие штанишки и белая рубашонка. В правом кармане звенят медные пуговицы.

Дзинь! Дзинь! Дзинь!

За ним вприпрыжку скачет Суслик—черная, гладкая собачонка, величиной в большую фисташку, со свисшим на бок розовым языком.

Вид у Пимки необычайно озабоченный и торжественный.

Одна молочница, заинтересовавшись им, кричит:

— Малец! А, малец! Куды?!

Но он не слышит.

Он торопится к колодцу, где работает дядя Иван, с важным поручением и „предписанием“ от тети Жени.

Пимка устал. Как назло, у него лопнула подтяжка, и он занозил на ноге палец.

Присесть бы на камень отдохнуть, поправиться. Да некогда...

Но вот и колодезь.

Вокруг, как по арене, ходит впряженная в вырло ¹⁾ Настя—знакомая Пимке, подслеповатая красная лошаденка в повязке на голове из полотенца для защиты от солнца. Она наматывает на барабан канат, поднимающий снизу камень.

У колодца стоит Степан, тяжчик ²⁾, и покрикивает на нее.

Пимка остановился в двух шагах от колодца и, с трудом переводя дух, спросил:

— Дядя Иван—здесь?!

— А что?

— Тетя Варя родила!

— Г-м,—засмеялся Степан—вот отчего ты прискакал, пожарный?! Ладно.

Степан повернулся к своей хате и крикнул:

— Тарас!

Из хаты, не торопясь, вышел длинный, как шест, парень в красной рубаше до колен, с открытой шеей и копной грязных волос. Он громко зевал.

— Полезай в колодезь и скажи Ивану, пусть домой идет. Жена родила.

— И чего ей приспичило?—спросил, не переставая жевать, Тарас.

— Спроси ее,—ухмыльнулся Степан.

Пимка с нетерпением и недовольством поглядывал то на Тараса, то на Степана. Его возмущало равнодушие, с которым они относились к столь важному событию.

¹⁾ Оглобля, прикрепленная к барабану колодца.

²⁾ Надсмотрщик.

Тарас зевнул еще два раза, взобрался на поданную Степаном шайку ¹⁾ и ухватился за канат. Степан выпряг Настю, навалился животом на вырло, барабан закрипел, завертелся, и Тарас стал медленно погружаться в колодезь.

У Пимки точно тяжесть свалилась с плеч. Он опустился на „четверик“ ²⁾, подозвал Суслика, приласкал его, усадил сбоку и занялся выковыриванием занозы из пальца. Степан со снисходительной улыбкой посмотрел на него и процедил в усы:

— А ты видел уже ребенка?

— Видел!.. Ранче всех!

В глазах Пимки засверкали веселые огоньки.

— Ого-го го! Как же это случилось? Ранче всех! Ах, ты, апельсин!

Пимка объяснил:

— Когда тетя Варя собиралась рожать, меня не пускали в комнату. А я подождал, чтобы тетя Женя вышла, и залез под кровать.

— Под чью кровать?

— Да тети Вари.

— Правильно!

— И как только ребенок крикнул, я сейчас голову и высунул...

— Молодчина!—похвалил Степан.

* * *

„Шайка“ ударилась в дно колодца. Тарас, изогнувшись, сунулся в дыру, ведущую в каменоломню.

Перед ним открылся длинный, узенький коридор с низким потолком, подпертым на каждом шагу гнилыми балками, ослизлыми стенами и могильным запахом.

Тарас миновал коридор, свернул вправо и пошел на тусклый огонек.

¹⁾ Квадратная площадка.

²⁾ Особого размера камень, вырезанный в каменоломне.

Огонек привел его к Ивану.

Иван работал один в маленьком припоре ¹⁾).

Он стоял на коленях перед громадным материком, похожим на надгробную плиту, методично распиливая его гигантской пилой надвое.

— Кхи! Кхи! Кхи!—визжала пила.

Иван весь ушел в работу, и Тарас видел только его густые волосы, позолоченные желтой пылью, красный, туго стянутый платок на шее и выкругленную в белой рубахе спину. Над ним под самым потолком, на железном треугольнике, вбитом острием в стену, стояла большая керосиновая лампа. Она коптела и дымила от недостатка воздуха, — как пароходная труба. Все стены, земляной пол, материк и сам Иван были облеплены сажей. Она носилась в воздухе, подобно черным мухам, и душила.

— Иван!—окликнул Тарас.

Иван вздрогнул от неожиданности, задержал пилу и поднял голову. Лицо у него было желтое, высеченное будто из камня; щеки куда-то провалились, и бесцветные глаза глядели из темных кругов тупо, в одну точку.

Иван не узнал его сразу и спросил визжащим, как пила, голосом:

— Кто это?

— Я!.. Тарас! Неужто не узнал? Сова!

— Ты?!—виновато забормотал Иван.

Правая рука, державшая пилу, упала вдоль тела, и он облокотился о материк. Сильная усталость сквозила во всей его фигуре.

— Совсем ослеп в этой норе,—проговорил Тарас.— А я пришел звать тебя. За тобой тут одного трубача прислали: жена родила. Слышишь?

Иван прекрасно слышал, но ни один мускул не шевельнулся на его каменном лице. Только меж бровями легла складка, да в глазах промелькнуло страдальческое выражение.

¹⁾ Выемка в каменоломне, каменный мешок.

- Так ты вылезай сейчас же.
— Обойдутся,—устало вымолвил Иван.
— Раз зовут, стало-быть, обойтись не могут.
— Плаху кончать надо.
— Как знаешь.—Тарас пожал плечами.

* *
* *

Долго еще после ухода Тараса сидел Иван над плахой, не меняя позы. Со стороны можно было подумать, что он спит. Но вот из груди его вырвался протяжный вздох. Он взял в руки пилу и принялся за прерванную работу.

— Кхи! Кхи! Кхи!—снова завизжала пила.

Иван пилил и думал о новом испытании, которое послано ему.

„Еще рот!..“

Ужаснее этого он представить себе не мог. В прошлом месяце он всего заработал шесть рублей. Проживи-ка на эти деньги с женой и безруким отцом (отец лишился рук в каменоломне и висел у него на шее).

Хорошо, что „тех“ нет, Лели и Нины!..

Перед Иваном, в полумраке припора, предстали рядышком, как живые и как на картинке, две тоненькие девочки-близнецы с большими, курчавыми головками.

„Отчего они умерли?“

Врач для бедных сказал, что от плохого питания. Может быть. Им, врачам, известно.

А хорошие они были—тихие, смирные. И всегда вдвоем, в уголку. Все со своими глиняными чашечками, горшечками и самодельными куклами возятся и щебечут-щебечут...

Рука, водившая пилу, дрогнула.

„И зачем теперь это новое существо?..“

Иван вспомнил, что его ждут, и ему стало совестно.

„Как же это так?! Жена родила, а я не двигаюсь?!“

Он отложил пилу, вскочил, отряхнулся от пыли и стал торопливо напяливать пиджак...

* * *

Первый, кто бросился ему в глаза, когда он поднялся наверх, был племянник.

Пимка встретил его сурово.

Дядя заставил себя ждать больше часу, притом лицо его было такое равнодушное, холодное. А Пимка был так уверен, что он обрадуется и сейчас же вылезет из колодца.

— А, это ты?—сказал Иван.

Пимка сердито отвернул лицо и проворчал:

— Так долго?... Идите... Тетя Варя родила...

— Иду, иду!

— С тебя магарыч,—сказал тяжчик и хлопнул Ивана по плечу.

— Да... магарыч,—вяло ответил Иван и мигнул глазом племяннику.

Пимка сорвался с своего места, и они зашагали по степи. За ними кинулся Суслик.

Иван шел медленно, покачиваясь из стороны в сторону, как человек, отвыкший от ходьбы. Пимка поминутно забегал вперед и заглядывал ему в лицо. Он хотел прочитать, что творится у него на душе. Но ему это не удавалось.

Лицо Ивана по-прежнему оставалось равнодушным и холодным.

На полпути он неожиданно обернулся и спросил:

— Девочка или мальчик?

— Мальчик.

Иван остановился и проговорил дрожащим голосом:

— Врешь?!

— Не вру!—бойко ответил Пимка.

Лицо у Ивана просветлело, и на бескровных губах зацвела улыбка.

Увидав, какое впечатление произвело на дядю это известие, Пимка схватил его за рукав и воскликнул:

— И красивый такой!.. Глазки такие большие, носик красненький...

Иван просветлел еще больше, схватил обеими руками Пимку за бедра и поднял его высоко над головой.

Суслик, вообразив, что Иван обижает Пимку, звонко залаял и вцепился острыми зубами в его сапог.

— Дурной,—рассмеялся Иван.

Продержав племянника несколько минут в воздухе, он бережно опустил его на землю.

* * *

Иван, как все каменоломщики, жил в самом грязном переулке слободки и снимал конуру за пять рублей. Она, впрочем, обходилась ему в три, так как он сдавал за два угла молодому парню Федору—тоже каменоломщику.

На пороге квартиры Ивана встретила сестра его Женя—полная женщина с рябым лицом и мужским голосом, по профессии—прачка.

— Где пропал так долго?—спросила она с неудовольствием.

— С материком возился,—робко ответил он.

— Ну, да ладно... Поздравляю с хлопцем. А важный хлопец,—и она трижды поцеловала его.

— Спасибо, сестра.

Он крепко пожал ей руку и переступил порог.

В крохотной и прибранной комнатке было тихо. Слышен был только шопот безрукого старика, отца Ивана, и двух старушек—соседак. Они сидели в углу у печки.

Родильница лежала на широкой кровати у стены и дремала. Иван издали разглядел ее хрупкую фигуру под одеялом, левую безжизненную руку, вытянутую вдоль тела, и опущенные синие веки. Плоская грудь ее чуть-чуть колыхалась.

„Где же он?“ подумал Иван, ища глазами новорожденного.

Он лежал по правой руке родильницы, завернутый в тряпки, и выглядывал из них красной, величиной в небольшой кулак, рожицей.

Завидя Ивана, одна старуха подошла к нему и прощамкала:

— Уснула... Пусть спит...

Иван кивнул головой и, стараясь не скрипеть сапогами, подошел к кровати. Он остановился в пол-аршина от нее, затаил дыхание и неловко стал мять, в шершавых с толстыми жилами руках, фуражку.

Иван сквозь туман глядел на это крохотное существо, и ему захотелось прижать его к груди. Но он воздержался, ведь это был не материк, а он только с материками умел обращаться.

Хотелось ему также приласкать и горемычную подругу свою...

Иван стоял долго не двигаясь, у постели, и на душе у него было необычайно радостно.

Этот чистый уголок, после холодного, гнилого припора, казался ему настоящим раем.

— Иван, а Иван!—услышал он вдруг над ухом шопот сестры.

Он повернулся. Она отвела его в сторону и что-то сказала ему.

Он мотнул головой, надвинул картуз и вышел в переулочек.

* * *

Нелегкая задача предстояла Ивану. Сестра наказала непременно достать пять—шесть, а если можно и десять рублей. Надо было заплатить бабке, купить полотна для свивальников, мыла.

Иван остановился в воротах и быстрым взглядом окинул переулочек.

„Признаться бы у кого-нибудь?“—мелькнуло у него, но ему тотчас же сделалось досадно и неловко за эту нелепую мысль.

„Где и у кого признаться денег?“

„Где? где?...“

„В «кассу» сходить разве?!“

Воспоминание о „кассе“ заставило его измениться в лице. Он почернел весь и скрипнул зубами.

Как все каменоломщики, он не мог вспомнить о ней без гнева.

Нечего сказать—„касса“.— У него, вон, до сих пор топят печь квитанциями ее, а Пимка мастерит из них броненосцы и волочит их через все лужи по переулку!..

Единственный человек, на котором он остановился, был Петр—трактирщик, отец и благодетель каменоломщиков.

Когда у кого рождался ребенок, умирал кто-нибудь, или случалось что-нибудь другое, шли к нему, и он выручал.

В прошлом году, когда у Ивана об'явился летучий ревматизм, Петр одолжил пять рублей, а когда умерла Нина,—одолжил еще столько же. Иван прослезился даже, когда вспомнил про Петра.

— Не друг, а мать родная,—говаривали о нем каменоломщики. — Он душу каменоломщика, как ты припор свой, знает и сочувствует.

Иван пошел бы к нему, да было совестно. Он до сих пор не отдал ему тех десяти рублей.

„К хозяину, что ли, пойти?“

Хозяин! Странно звучало для него это слово!

Хороший хозяин, которого никто в глаза не видал. Да и как увидишь его, когда он ни разу не навещает в степь и не спустится в колодезь?! О нем знали каменоломщики только понаслышке, что он—плотный мужчина с кривыми ногами, сутулый, с широким фиолетовым лицом и желтой бородой, что жена его „ходит в кружевах“ и дети круглый год живут за границей и образуются для того, чтобы можно было потом управлять колодцами.

Еще им было известно, что он живет где-то на „Фонтане“, на собственной даче, среди массы цветов, в хорошеньком домике с балконом, на котором вся семья его пьет по утрам кофе из тоненьких фарфоровых чашечек.

Два года назад Иван, когда его сильно обидел тяжчик, пошел, было, к нему с жалобой. Но он потер-

пел неудачу. У самых ворот дачи на него набросились хозяйские собаки и сильно покусали его. И злился же потом Иван!

— Хотя бы глазком посмотрел, на кого весь век работаешь и жизнью каждую минуту рискуешь...

Иваном овладело отчаяние, точно такое же, как когда Тарас сообщил ему о рождении сына. Он забыл недавнюю радость и умиление, и в нем снова вспыхнула злоба против нового, лишнего рта.

Этот новый рот уже заявлял о себе, пред'являл свои требования.

„Что же это! — думал, чуть не плача от душившей злобы, Иван. — Сидел человек в припоре, резал спокойно камень. И вдруг бросай пилу, вылезай наверх и ищи денег!“

Иван посмотрел на степь, где маячили колодцы, и его потянуло туда. Ему хотелось бежать, забраться назад в свою берлогу, а они пусть делают, что хотят, без него

— Ты еще здесь?! — услышал вдруг Иван знакомый голос.

Он быстро повернулся и столкнулся с сестрой.

— А я думала, что ты давно ушел, — проговорила она, качая укоризненно головой. — Стыдись! Жена больна... сын... дома ни копейки!..

— Куда же пойти? — забормотал он, — иду, иду! . . .

Иван, после долгого колебания, все же пошел к трактирщику, и тот опять не отказал ему, дал пять рублей. . .

* * *

Саньке четыре года. У него большая голова, зеленоватое лицо, круглые, как у совы, глаза и рахитичные грудь, руки и ноги.

Сегодня в первый раз он выглянул самостоятельно во двор.

К нему подскочил Валя Башибузук!

— Давай в квач-квач играть!

— Я не умею.

— Дурачок!

Он сделал из большого и указательного пальца бублик и пояснил:

— Я плюю в эту дырочку. Если заденет палец, ты даешь мне по уху, а нет, я тебе.

— У-у! — мотнул Санька головой.

— Я плюю! — объявил Валя и запел квач-квач, дай калач! — Видишь? Чиста ручка, как петрушка.

Не успел Санька моргнуть, как что-то здорово огрело его по уху. Он заорал.

— Ну, чего, дурак?! — рассердился Валя. — Мы же честно играли! — и шмыгнул в переулочек.

С этого дня Санька сделался полноправным гражданином переулочка и вошел в состав его юной гвардии, под кличкой Сургуч.

И завертелся Сургуч, как осенний, придорожный лист, в облаках пыли.

Он ознакомился со всей слободкой — площадями, базарами, улицами, задворками, научился стрелять наравне со своими юными товарищами и, как они, возвращался всегда домой с полными карманами.

Такая беззаботная жизнь пришлась ему по сердцу, и все чаще и чаще он исчезал из дому.

Сегодня его можно было встретить на похоронах, завтра — на параде на Соборной площади, после завтра — в порту.

Больше всего он любил похороны. Ввинтитя в толпу и заглядывает всем в торжественно-настроенные лица. Он путается в ногах, как собачонка. А когда ему надоест толкаться, он вынырнет у самого балдахина, впереди удрученной вдовы, ведомой под руки, и вдруг среди стройного пения архиерейских певчих „господи помилуй“ и сдержанного плача вдовы раздается звонкий голос:

— Пимка, иди сюда! Здесь слободнее!

Когда не было похорон, он торчал на станции „конки“. Подбирал брошенные пассажирами пересадочные билеты и сбывал их другим по копейке и по две...

Варя терзалась, глядя на сына.

— Отчего бы тебе не подумать за Саньку? — говорила она частенько мужу.

— А что?

— В школу бы какую записать его.

— Это твое бабье дело, — отмахивался Иван.

Варя иногда всю ночь не смыкает глаз и все думает, думает, как бы Саню в люди вывести.

* * *

С некоторых пор Варя с утра, накинув черный платок в букетах, исчезала на весь день из дому. Она возвращалась лишь к вечеру разбитая, усталая.

— Где шляешься? — спрашивал Иван.

— После узнаешь, — отвечала она загадочно. Она „шлялась“ по приемным всех школ, какие были в городе, крепко прижимая к груди прошение, написанное знакомым наборщиком. Но напрасно. Все школы были переполнены, и для Сани нигде не оказывалось свободного местечка.

А Саня рос. Ему уже стукнуло 12 лет, а вакансий в школе все еще не было. Варя устала от бегания по всяким инспекторам.

Иван, тем временем, сильно постарел. Он весь сгорбился, пила в руке пошаливала.

— Чего помощника не возьмешь? — спрашивали товарищи.

— Шутники... На какие средства?

— А Саня-то твой?

— Какой он помощник?

— Скажите?... Когда мне было девять лет, я помогал отцу.

— Оно так, да жаль, — проговорил, как бы про себя Иван. — Мать плакать будет. Она в школу отдать его все собирается.

Разговоры товарищей навели Ивана на мысль — действительно привлечь к себе Саньку в помощники.

И вот, однажды, поутру, когда Варя собиралась на базар, Иван остановил ее.

— Что такое?

— Дело.

Она спустила на пол корзину и присела на кровати. Предчувствие чего-то недоброго сдавило ей грудь.

— Я хочу поговорить насчет Саньки, — процедил, не глядя на нее, Иван.

Варя насторожилась.

— Довольно ему собак гонять.

— Он не гоняет собак, — вступилась она горячо.

— Ну да все равно!.. Пора подумать о нем. Мне давно нужен помощник. Хочу взять его в колодезь.

Варя вскочила и крикнула истерически:

— Жди!.. Не отдам тебе я его! Не отдам!

— Чего ты, сатана! — нахмурился Иван.

Варя затопала ногами.

— Не отдам, говорю! Слышишь?! Не для того растила я его!.. Довольно с меня, что колодезь с'ел отца и брата! Хочешь, чтобы он с'ел и сына?!

— Такая уж наша судьба — стал усовещевать ее Иван. — Мне обязательно нужен помощник. Не те силы у меня нынче.

* * *

Целый месяц Варя ни на шаг не отпускала от себя Саньку. Она боялась, как бы муж не отнял его у нее тайком.

— Не дури! — упрашивал Иван.

— И чего ты артачишься! — урезонивали ее окружающие.

На нее наседали со всех сторон — Женя, соседи.

Она боролась, противилась.

Силы, наконец, стали покидать ее, и она почувствовала, что Саня мало-по-малу уходит от нее.

Она в ужасе поглядывала то на окружающих, то на степь, по которой разбросались колодцы.

Эти колодцы напоминали ей могилы. Ей казалось, что степь — жадная, ненасытная, — протягивает к ней руки и хочет вырвать у нее Саню.

И она в изнеможении закрывала глаза..

* * *

Солнечный день. По степи молча движется небольшая группа — Иван, Варя и Саня.

В правой руке у Вари — корзина. Она идет, низко нагнув голову, стараясь скрыть слезы.

— Далеко еще до колодца? — спрашивает отца Саня.

Он щурит глаза, и лицо его серьезное, как у взрослого.

— А вот!..

Знакомый колодезь. Знакомый Степан-тяжчик.

Они подошли вплотную.

— Здорово, товарищ. Помощника привел?

— Да!

— В добрый час! Сейчас лезть будешь?

— Сейчас...

Степан приготовил шайку. Иван встал на нее и привлек к себе за руку сына.

Варя рванулась к колодцу, и в глазах ее отразился испуг.

— Осторожно!

— Не бойся, — успокоил ее Иван. — А ты не боишься? — спросил он Саню, который прижался к нему всем телом.

— Н-нет... папа...

— Не смотри вниз, а то голова закружится. — Наверх смотри...

Барабан скрипнул. Иван вместе с сыном стал погружаться в бездну.

— Саня, милый, родной! — забилась Варя около, как подстреленная. Она обеими руками вцепилась в край колодца и долго безумными глазами смотрела в бездну, которая поглотила ее сына...

С. Черкасено.

С А Ш К А.

Тихо на шахте: не слышно ни гула, ни грохота, ни тяжелых непрерывных вздохов пароттоводителей, ни ежедневной и еженощной суетни сотен и тысяч гномов — рабочих возле гигантского черного чудовища, невидимого страшного спрута, раскинувшего вокруг себя свои длинные ноги — эстокады с огромными кучами черного блестящего угля под ними. Молчит шахта, молчит уже третью неделю: маленькие гномы забросили чудовище — и его затопило.

Вот они собрались многолюдной толпой на площади, хмурые, серьезные, вперившие свои неподвижные взгляды в кого-то, с пылом энтузиаста говорившего им о далеком, прекрасном. И трудно было уловить мысль этой молчаливой полной зловещего покоя толпы. Куда льнут их думы тяжелые, как толща земли? Здесь работа истощала их годами, во всякую пору года, вдали от родных мест. Или они, может быть, прикованы к этому месту и к изменчивым обстоятельствам, таящим в себе что-то желательное, что-то страшное?..

Из Пурикового двора суетливо выходит престарелый полицейский надзиратель. Он только лишь возвратился откуда-то, и на лиц его глубокая тревога. Новый мундир, подпоясанный туго кушаком, возле которого висит в черной кожаной кобуре револьвер на шнурке, спускающемся от шеи, свидетельствовал о серьезности момента.

Дело труда отзовется
На поколеньях живых,
На поколеньях живых...

донеслось к нему и заставило его остановиться.

Из переулка вывалила на улицу ватага босых, в фуражках и без них, шахтерских ребятишек. Впереди, привязав к палке красный с желтыми цветочками платок и высоко поднимая его кверху, важно выступал Саша.

Завидев надзирателя, певцы приостановились и умолкли; молча, переглянувшись, они готовы были удрать, но видя, что Саша, будто ничего не замечая, повернул по улице мимо надзирателя, стояли молча.

— Ты же это что задумал, бесенок? — набросился на Сашу надзиратель: — брось мне, сейчас же, брось, не то уши оборву. Вишь, каков! И он туда же!

— А мы разве что, ваше благородие? — оправдывался Саша, пряча за спиной палку с платком: — наши говорят: „Почему ты, Саша, не идешь с мальчуганами с флагами“?.. Ну, мы и пошли...

— Поговори мне еще! — топнул ногою надзиратель: — брось сейчас же палку! Кому я говорю?!.

Саша бросился опрометью назад и, волоча за собою флаг, закричал:

— Беги, ребята, к нашим!

Вся ватага с криком и смехом, подымая пыль, исчезла в переулке.

Когда надзиратель подошел к собранию, Саша с товарищами уже вертелся между взрослых, внимательный, хлопотливый, перешептываясь со своими помощниками.

— Хищун, оставь! — пригрозил надзиратель оратору, — оставь и расходишь, не то будет плохо.

— Да кому же мы мешаем? — вопросительно отвечал Хищун: — нужно же нам посоветоваться!

— Знаю... но все-таки расходишь. Клянусь, будет хуже! Вы знаете, что я вам не враг, и потому лучше вам разойтись... К чему это?.. А тебе, Хищун... да и прочим... советовал бы не прятаться, а добровольно

сдаться. Клянусь! Я по совести. Разве мне приятность? Сейчас приедут, а вы того... Советую вам не доводить до греха. А ты, Хищун, останься... и прочие, кого приказано арестовать.

В толпе поднялся шум.

— Да не я, не я, голова ты садовая!... Я, можно сказать, ничто. Сами виноваты: ни в шахту, ни с рудника. Так же нельзя, братцы. Ну вот... ну вот видишь... я же вам сказывал. Вот и договорились. Сами ведь знаете, какие теперь времена... по головке не погладят. Вон уже идут... получайте!

В самом деле, из-за шахты выехало десятка полтора казаков с винтовками за плечами, а за ними и сам исправник.

Толпа заволновалась и умолкла. Хищун стоял на стуле бледный, как стена, но не прятался.

— Ну, что же?... Расходитесь, — обратился он с дрожью в голосе к шахтерам: — нас четырех арестуют да и конец. Право слово... а то на самом деле....

Молчание. Звон оружия и фыркание лошадей. Надзиратель пошел навстречу исправнику.

Всадники подехали и спешили. Исправник добыл какую-то бумагу и что-то в ней искал глазами. Минута тяжелой тишины.

— А кто из вас Хищун?... Литвинов... Захаренко... м-м... Туркин? — поднял он, наконец, голову и бросил взгляд в толпу.

— Я—Хищун, господин исправник.

— Ты?—бросил на него острый взгляд исправник: — ну вот и отлично: выходи сюда с остальными... с теми, которых я назвал; вас арестуют, а прочие по домам!

Хищун исчез в толпе и хотел было выйти, но его не пустили. Раздались крики, угрозы.

— Да вы не горячитесь, — спокойно заговорил исправник, — и делайте то, что вам велят. Не шутить же я к вам приехал... Ну, так не дадите мне сделать то, что нужно?... Нет? Предупреждаю, что силой сделаю. Расходитесь, вам говорю!

Между шахтерами поднялась ужасная суматоха и упреки.

Они взмахивали руками, бранились, напирали всей массой на казаков, которые стояли, держа за поводья коней, спокойно усмехаясь.

Впереди суетились мальчуганы, а Сашка почему-то вообразил себе, что как раз в данный момент нужно выбросить флаг—и высоко над головами поднялся красный женский платок. Исправник пожал плечами, повернулся к казакам и кивком головы дал знак. Хищун, как выюн, завертелся между шахтерами, просил, умолял... Не помогло.

Хищун и его товарищи были арестованы, и исправник, дав распоряжения надзирателю, уехал вместе с казаками.

В стороне лежало несколько человек шахтеров, раскинув руки, а немного ближе, крепко обняв свой флаг, широко раскрытым мертвым взором смотрел в небо Саша.

А. Федоров-Давыдов.

ПОД ЗЕМЛЕЙ.

Рабочий, что за лошадьми ходил, в подземной конюшне каменноугольной копи, захворал. На его место остался при лошадях его подручный Серега Рыжак. Мальчик шустрый, живой и гордый.

Все мальчики, что камень из штолен к главной шахте подвозят, у него под командой были, слушались его. И не то, чтобы кем это заведено было, — а так, само собой завелось.

Над ребятами он не ломался, не озорничал, а всегда горой за них стоял, защищал, — если кому доведется забить ребят. А такие случаи бывали...

Вот хоть бы Дрона-старика взять. Язвительный старик. Шестой десяток ему идет, а уж злющ, а уж ядовит, — просто беда. Чуть что не по нем, — так весь и закипит, — и в драку лезть готов.

Не любят его рабочие.

Стар он был, всю жизнь в шахте провел, знал ее, как свои пять пальцев, и все штейгера и управляющий его опасались и обегали трогать, а то такое наплетет, что и в беду впутает. А больше всего потому держались за него, — что Дрон против своих шел, — всем штейгерам на других нашептывал, ябедничал, на рабочих-шахтеров науськивал. А то он на работах, — мало что и делал, — уж стар был.

Работа рудокопов неприглядна; и сама работа тяжела, и быть оторванным от жизни „наверху“ — нелегко. Опять же, — каждую минуту всякой опасности жди, —

то обвал шахты, то взрыв, то наводнение. Оттого рудокопы народ серьезный, малоразговорчивый.

Под землей душно, сыро. Работай хоть безо всего, — и то тяжело, а работать — неспособно, — то на коленях стоя, то полулежа. И грязь, и копать вокруг.

Уж одно то, что, говорят, три дня надо человеку отдыхать после работы под землей, чтобы притти в себя, рассеять тяжелые думы.

Как-то у самого маленького мальчика, Гришуни, лошадь задурила: стала биться, лягаться: с вагонетки уголь посыпался.

Накинулся Дрон на мальчика: — „Я те дам, баловник, такой-сякой“ — кричит, да размахнулся и хлопнул малыша по затылку.

Чуть не упал Гришунька.

Налетел Серега на Дрона орлом.

— Ты чего дерешься?

— А тебе что. Пошел прочь!

— Ишь, ты, старая шуба. У нас, в шахтах, — народ к ребятам-то особенно добер... А ты ровно бес...

— Ты у меня поговори, — крикнул Дрон, — живо из шахты вылетишь.

— Донесешь, что-ль.

— И донесу, не фордыбачь. А то еще... Отчего лошади худы. Овес-то весь засыпаешь.

Разгорелся Серега за напраслину. Уж он ли лошадей не жалел, он ли за ними не ухаживал. А на него вон какой поклеп взводят...

Вцепился в старика словно клещами, — не оторвешь.

— Бельма я тебе выцарапаю, — кричит. — Не ери зря... Вот что...

Насилу их рабочие розняли.

Обозлился Дрон, пожаловался.

Выговор Сереге обер-штейгер сделал.

— Я не посмотрю, — говорит, — на тебя. — Духом ты у меня отсюда вылетишь. Нешто можно буяннить.

Дрон не упустил случая, чтобы еще показать мальчугану свою силу и значение...

— Что, влетело, — усмехнулся он, — то-то, брат, лучше не фордыбачь... И что за ребята пошли нонче.

— А ты отстань, не твое дело. — огрызнулся Серега. — Мы дальше посмотрим, что будет.

— А выгонят тебя, — усмехнулся Дрон, — да нехорошо усмехнулся. — Ты то посуди, что из тебя хорошего станет, куда вы этикие-то, что больно топорщатся, нужны. У нас как дело-то в старину было... Все чинно, да благородно; которые младшие, — к старшим уважительны были. А ты что.

— То-то из вас этикие-то, вроде тебя, и становились. Донести на кого, оболгать, — лишь бы подслужаться; на себя, на свою работу не больно рассчитываешь, — так хоть языком взять... Эх, ты...

* *
* *

Ходы под землей двоякого рода бывают — штольнеобразные и шахтообразные. Штольни, штреки, квершлагы — это длинные подземные галлерей. По ним проходят, провозят нарытый уголь к шахте. А шахта — это глубокий колодезь; идет она от поверхности земли прямо вглубь. Обыкновенно устраивают несколько шахт одной глубины, — а под землей они соединяются между собою штольнями. Штольни укрепляют: в вырытом проходе вставляется деревянная рама из двух стоячих столбов и третьего столба, положенного на них сверху; а то и каменные своды складывают.

Нарытый уголь перевозят по штольням в особых вагонетках или руками, или на лошадях, к рудничному двору, что находится как раз под шахтой. Оттуда уголь поднимается подъемной машиной на поверхность земли.

А над шахтами возвышаются главные постройки; тут же — груды добытого каменного угля. Тут суетятся толпы рабочих, женщин, детей, за работой. Грузят уголь в вагонетки, отвозят его в склады.

Около спуска в шахту — подъемная машина. Вертятся огромные барабаны; по ним непрерывно скользят то вверх, то вниз толстые проволочные канаты.

Как-то Серега опускался после отдыха в шахту, в бадье, с рабочими; между ними был и Дрон.

Шахта — четырехугольная; бока ее выложены кирпичом. Вниз спускались шесть толстых проволочных канатов.

Шахтенные бадьи — чаще металлические, висят на канате, как пауки на паутине. Над большой бадьей привешена небольшая. В первую складывают инструменты, а в верхнюю садятся рабочие.

Серега был не в духе и с досадой поглядывал на Дрона. Тот опять пожаловался на него управляющему.

Когда они были в бадье на половине шахты, Серега не выдержал:

— Что, нажалился, старый сын, — сказал он.

Дрон огрызнулся, взвизгнул:

— Молчи... Об стенку расшибу...

— Буде, буде... — заговорили кругом. — Молчи, Дрон. И ты, Серега, молчи, твое от тебя не уйдет.

Бадья опускается быстро, быстро, слышится неприятный шум воды в водопроводных трубах по углам шахты, шум рассекаемого воздуха; беспрестанно мелькают тени скользящих вверх шахтенных бадей, а по бокам — темные страшные отверстия прежних шахт, теперь уже заброшенных.

Бадья замедляет ход, значит, близко дно шахты.

Кучка людей ожидает бадью и освещает ее своими лампами.

— С счастливым спуском...

И звучат эти слова здесь, под землей, совершенно иначе, чем на земле, как-то участливее.

* * *

Ночью, за работой, раздумался Серега невесело.

Вот, работает он здесь, и тяжело, и нудно. А все-таки жить можно. И себя содержишь, и сестру. А уйди, — не скоро работу сыщешь. А с места снять могут. Такой уж этот Дрон человек неладный. Он, говорят, за своего внука хлопочет, чтоб его к лошадям приставить...

„Что ж мне, в ножки ему поклониться. Да пропади он пропадом...“

Что-то глухо ухнуло далеко и затихло. Слышались глухие удары калей, визг колес вагонеток, чьи-то шаги...

Мальчуган Гришуня вбежал, перепуганный, в подземную просторную конюшню и крикнул:

— Серега... А там обвал... Обвалилась штольня.

У Сереги сердце екнуло, в ногах похолодело... Насторожился он. По главной штольне слышались торопливые шаги, перекликающиеся голоса. Звонил — тревожный звонок, и чей-то голос кричал:

— Машину дай...

— В каком номере это? — спросил Серега.

— В сорок четвертом... Вон, в том боку..

— Надо бежать...

И он пошел быстрыми шагами по боковому ходу.

Кучка рабочих стояла перед квершлагом в нерешительности.

Обвал был небольшой, — только внешний пласт обвалился. Но перед входом громоздился целый ворох камня, и проходу не было почти.

— Расчистить бы, — сказал кто-то.

— Не замай, штейгер придет. Тронешь, а ну-ка дальше обвал-то пойдет.

Серега дожидаться не стал. С лампой в руке он сунулся в узенький проход между ворохом камня и верхней балкой.

— Куда ты, оглашенный. Убьет...

Но „оглашенный“ юркнул в узкое отверстие, лежа на животе...

— Эй!... Отгребай живей... — крикнул он. — Да скорее... Тут народ был...

Это подействовало. Про себя люди вспомнили и других пожалели...

Заработали кирки, кайлы. Полетели обломки угля в сторону.

— Вылазь, Серега... Придавит...

— Ладно... Отгребай себе... Да поторапливайся...

Открыли первого Михаилу Слободского, — молодого парня. Дышал еще. Скоро почувствовался. Потом Дрона вынесли. Тоже, жив человек оказался.

— Рой, рой, зчай, откидывай... — крикнул Серега.

Опять ухнуло что-то, и Серега сразу замолк...

Рабочие молча переглянулись. Один сунулся вперед, осветил лампой, молча передал ее кому-то, опять нагнулся и с усилием стал вытаскивать что-то.

Нога показалась, другая, — а там и сам Серега.

Его тронул новый обвал, ошеломило; рука плетью моталась.

Прибежали обер-штейгер, управляющий. Бледные, встревоженные.

— Не смей лазить туда... Становись на переключку... Нечего зря рисковать...

— Зря... Кабы не Серега, — двоих бы придушило.

Зашибленных понесли к рудничному двору...

Дрон зашел в конюшню как-то, к Сереге. Оправился, да плохо.

Серега встретил его недружелюбно. Сам недомогал. Рука разбитая до сих пор была на перевязи и грудь ломило.

— Чего надо?

— Как, значит, сказывали, — начал, было, Дрон.

Но Серега его прервал:

— Буде. Слышали. Не тебе челом нам бить, а нам тебе... Вот что...

Дрон изумленно посмотрел на мальчугана.

— Да ты чего это...

— А того... Челом тебе бьем... Буде с тебя, поработал. Оставь ты нас, право слово... Не мути. Я б тебя все одно вытащил, кто бы ты ни был... Ну, только уходи ты от нас... И года твои не малые, и жить тебе, сказывают, есть чем. И домишко и огородишко. Чего тебе около нас околачиваться, — народ мутить...

— А слышь! Серега,— заворчал Дрон,— больно зубаст ты у меня парень... А я, то и сам надумал работу бросить... Совсем ме о ту пору зашибло. Вот, к тебе зашел, — спасибо мол...

Серега только рукой махнул.

— Ладно, ступай себе. Да лихом не помнай.

Хуже этого старику Дрону отродясь не ло. К другим рабочим и сам не пошел.

С той поры его в шахте не бывало.

— — — X — — —

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Предисловие	3
I. Д.УЭЛШ - Первый день	7
2. А.СЕРАФИМОВИЧ -Под праздник .	16
3. Г.МАЛО - Откатчик Ренэ	28
4. Б.КЕЛЛЕРМАН - Мак Аллан	48
5. В.ДМИТРИЕВА - Косряшка и Ермолка	59
6. П.ЦЕХ - Юппхен-лошадник	70
7. Д.ВЕРГА - Клеймленный рыжий	79
8. А.РОССИ - Карузи	93
9. В.ВОИНОВ - Алешкина шахта	105
10. КАРМЕН - Сын колодца	119
11. С.ЧЕРКАСЕНКО - Сашка	133
12. А.ФЕДОРОВ-ДАВЫДОВ - Под зем- лей	137

-50v

120 =



